Владимир Набоков

Изобретение Вальса

PREMIUM

Азбука Premium. Русская проза

Владимир Набоков

Изобретение Вальса (сборник)

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Набоков В. В.

Изобретение Вальса (сборник) / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус», — (Азбука Premium. Русская проза)

ISBN 978-5-389-15987-7

«Я не терплю театра… примитивную и подгнившую форму искусства, которая отзывает обрядами каменного века и всякой коммунальной чепухой…» – утверждал один из лукавых набоковских персонажей. Да и сам Набоков в зрелые годы, имея весьма разносторонний опыт сценариста и драматурга, пьесы которого ставились в Европе и Америке, современный театр, каким он его знал, тоже не любил. Более того, он ставил драматургию ниже других видов искусства, делая исключение лишь для нескольких шедевров во всей мировой литературе. При этом Набокова, судя по всему, никогда не оставляла идея создать пьесу, в которой в идеальной гармонии соединились бы «действие и поэзия», пьесу, в которой нашел бы отражение «уникальный узор жизни» и та особая «логика сновидений», составляющая примету подлинного искусства. В издании представлено основное собрание драматических произведений Владимира Набокова, написанных в 1921–1942 гг.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-15987-7

© Набоков В. В.
© Азбука-Аттикус

Содержание

Дмитрий Набоков 6
Скитальцы 18
Смерть 45
Дедушка 63
Агасфер 79
Полюс 81
Трагедия господина Морна 94
Конец ознакомительного фрагмента. 115

Владимир Набоков
Изобретение Вальса (сборник)

Vladimir Nabokov
COLLECTED PLAYS
Comprising of:
THE TRAGEDY OF MR MORN
THE EVENT
THE MAN FROM THE USSR
THE POLE
THE GRAND-DAD
WONDERERS
DEATH
AGASFER
THE WALTZ INVENTION
and VLADIMIR NABOKOV AND THE THEATER
by Dmitri Nabokov
Copyright © 2018, Vladimir Nabokov
All rights reserved

© А. В. Глебовская, перевод статьи, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

* * *

Дмитрий Набоков
Набоков и театр[1]

Причисляя писателей к школам, движениям или общественным группировкам, скрывая их индивидуальность за дымкой «влияний», ученые создают плодородное поле для бесплодных изысканий. Отец же был убежден, что смысл «сравнительного» литературоведения состоит в том, чтобы выявить своеобразие, а не сходство. Его интересовали одинокие пики, а не плоские плато.

Выискивать лейтмотивы и иные переклички в произведениях отдельного автора – еще одно притягательное, но заведомо скучное занятие. Все же отдельные образы и темы, которые полыхают отраженными вспышками среди набоковских вершин, безусловно, заслуживают комментария, поскольку высвечивают основные грани его книг.

Глубинным подтекстом многих сочинений отца, который ощущается как подводное течение и во всех его драматических произведениях, является театральность вещей, обманчивость вымышленной реальности: нам дают возможность проникнуть сквозь завесу вымышленного мира, заглянуть в его закулисную жизнь, его подоплеку. «Бутафорство» того, что открывается взгляду, может оказаться (по авторской воле) не самого высшего разбора – но таково и есть нутро настоящего театра; он может отвлечь, дать нам передышку от очередного тягостного кошмара, который разыгрывается вне сцены; или растревожить, наведя на мысль, что, хотя весь мир – театр, сцена стала миром, сущность которого не сводится к одному лишь развитию действия пьесы или романа на очевидных уровнях, миром, где случается усомниться даже в реальности нереального.

В пьесах отца есть поразительные примеры такой слоистой реальности: это «альтернативный» финал «Изобретения Вальса» – пьесы, которая, в определенном смысле, представляет собой сон главного героя, им же направляемый; это ключевая сцена «События», где на один хрупкий, волшебный миг, попав в совершенно иное измерение, второстепенные персонажи превращаются в раскрашенные декорации, а Трощейкин с женой открывают, может статься, свои подлинные «я», при этом мы с особой остротой воспринимаем то, что один рецензент назвал «сомнамбулической атмосферой»; это последняя страница «Дедушки», где герой, Прохожий, внезапно задается вопросом о реальности всего, что приключилось раньше; это Кузнецов в «Человеке из СССР», который в ответ на обращенную к нему Марианной почти неприкрытую мольбу: «Отчего ты молчишь?» – отвечает: «Забыл реплику»; это Ольга Павловна, которая говорит Кузнецову: «Я тебя не люблю, никакой скрипки не было», – хотя все мы отчетливо слышали звуки скрипки в начале действия. Собственно, беспорядочно сваленные декорации в четвертом действии и «неровные лазейки и просветы», сквозь которые проблескивают клиговые лампы реальности второй степени (фильм, который снимают за сценой, развенчан обнажением механических украшательств), сами по себе говорят о хрупкой мимолетности того, на что смотрят зрители. Все это напоминает обморочную пульсацию реальности в «Посещении музея» и «Terra incognita», финал «Приглашения на казнь», содержащий намек, что все предшествующие события были всего лишь сценическими условностями чьего-то кошмара, и, разумеется, противоположение миров и реальностей в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», «Аде» и «Бледном пламени».

С атмосферой двоящейся реальности тесно связан двойник, так называемый набоковский doppelgänger. Сущность и степень сходства между оригиналом и двойником – в широком

[1] Предисловие Д. В. Набокова к собранию пьес В. В. Набокова в: *Nabokov V.* The Man from the USSR and Other Plays. San Diego; New York; London: Bruccoli Clark / Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

смысле этого слова – могут быть самого разного свойства. Такую «пару» могут составить случайные персонажи, наделенные некоторым внешним сходством, как Мешаев Первый и Второй в «Событии»: «…меня и брата играет один и тот же актер, но брата хорошо, а меня худо». Или это почти что тезки, но принадлежащие в сценическом мире к противоположным лагерям, как, например, грозный Барбашин, остающийся за сценой, и фарсовый Барбошин, нанятый его выслеживать. Бывают даже двойники, существующие только в виде собственного портрета: «… написал Баумгартена сразу в двух видах – почтенным старцем, как он того хотел, а на другом холсте, как хотел того я, – с лиловой мордой, с бронзовым брюхом, в грозовых облаках» (намек для проницательных на то, что в Трощейкине, за довольно неприглядным фасадом, который он демонстрирует большую часть времени, сокрыта определенная глубина). Может существовать и непохожий doppelgänger, нежеланный попутчик: палач, который вместе со своей жертвой едет на тележке к эшафоту в «Дедушке» и который является зловещим прообразом гротескного мсье Пьера из «Приглашения на казнь», или подставное лицо, чье сходство с персонажем существует только в воображении последнего, как, например, в «Отчаянии». Феномен двойственности, изобретательно воплощенный в новые художественные формы, играет ведущую роль в других романах: в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», в незавершенном «Solus Rex» и его реинкарнации, «Бледном пламени», и, разумеется, в «Аде», где целый мир обретает брата-близнеца. Нельзя не вспомнить тут и «Сцены из жизни двойного чудища» – фрагмент большого незаконченного произведения – и, разумеется, «Подлинник Лауры», где о Флоре говорится: «Изысканное строение ее костяка проникло в роман, образовав, по сути, скрытый костяк этого романа и походя послужив опорой еще для нескольких стихотворений».

Странствие как таковое и, в частности, научная экспедиция, а также то, что, в определенном смысле, является его антитезой – возвращение в Россию, – вот еще одно арпеджио, которое постоянно разыгрывается в драмах и других произведениях отца. Мечта о путешествиях не оставляла его с самого детства: приключения Филеаса Фогга были одной из его любимейших книг (как у героя «Защиты Лужина» в детстве). По иронии судьбы жизнь в изгнании вынудила его покрыть расстояния куда большие, чем преодолел по собственной воле герой Жюля Верна, и эти скитания часто давали пищу его воображению: вспомним эмигрантов из его романов и рассказов, которые трясутся в своих купе четвертого класса, или беднягу Пнина, который не знает, что сел не в тот поезд, или странствие Гумберта и Лолиты через всю Америку. Средства и атрибуты путешествий обладали для Набокова особой романтикой: примечательно, с какой приязнью описывает он в автобиографии и в романах роскошные поезда-экспрессы в пору их расцвета, огни проносящихся мимо городов, которые можно различить, приподняв кожаную шторку на окне спального вагона, чемоданы и несессеры. Примечательны и элегантные, аппетитные, тщательно выбранные дорожные вещи, которые пережили отца и хранятся в Монтрё.

Но еще больший смысл обретает в произведениях отца путешествие к определенной цели. Его всегда завораживала романтика экспедиций. Однажды, уже на склоне лет, он признался мне, что прожил удивительно счастливую жизнь, достиг всего, чего хотел, и осуществил практически все свои мечты. Однако два желания остались неутоленными, и оба связаны с путешествиями.

Первое – вернуться в Россию, где нет большевиков. Эта мысль, прошедшая через калейдоскоп его воображения, присутствует, помимо прочего, в «Подвиге» (Мартын, канувший во тьму Советского Союза), в «Посещении музея» (пока орфография не открывает герою, что его напоминающее кошмар блуждание по музейным залам было перемещением в пространстве, а не во времени и он очутился в современной, советской России) и, разумеется, в «Человеке из СССР».

Загадочные поездки Кузнецова в Советский Союз не только образуют одну из центральных тем пьесы, они служат ключом ко всей ее атмосфере. Набоков создает иллюзию (так же, как несколько иным способом в случае с находящимся за сценой Барбашиным в «Событии»),

что подлинное действие развивается где-то в другом месте. В самом общем смысле это так и есть: нам кажется, что взаимоотношения персонажей, вокруг которых строится действие пьесы, заслонены куда более значимыми событиями, развивающимися вне пределов сцены, театра, страны. Кузнецов жертвует своими чувствами, своей семейной жизнью в берлинском изгнании во имя опасной нелегальной деятельности в Советской России. Если же рассмотреть, как это воплощается в структуре пьесы, мы увидим, в двух действиях, удивительный контраст между тем, что происходит у нас на глазах, и куда более масштабными, но незримыми событиями, которые развиваются за пределами сцены (являясь при этом, однако, лишь фоном для сценического диалога): громкие аплодисменты, сопровождающие неслышную лекцию на невидимой кафедре; съемочная площадка, орущий мегафон, бесконечные дубли одного и того же эпизода – восстания – за пределами заваленной декорациями сцены.

Подобные контрасты странным образом напоминают финал «Кармен» (за сценой Эскамильо под восторженные крики зрителей убивает быка; на сцене, представляющей собой пустую площадь рядом с ареной, происходит последний, роковой диалог между Кармен и доном Хозе). Хотя «Кармен» была одной из немногих опер, которые отец любил, я не рискну предположить, что параллель эта является преднамеренной. Тем не менее общность драматического накала, который этот прием создает в обоих произведениях, весьма примечательна, а кроме того, невозможно в очередной раз не задуматься над тем, как мы воспринимаем, или как нам предлагают воспринимать, разные уровни иллюзии и реальности на новом их пересечении. То, что предположительно происходит или существует за пределами сцены, является, в простейшем понимании, такой же иллюзией, как то, что разыгрывается на подмостках. Нам прекрасно известно, что перед нами декорации, а не настоящая комната или настоящая площадь, так же как мы прекрасно знаем, что за бутафорской площадью нет никакого боя быков, никакого леса, идущего на Макбета, никакой амбразуры в стенах замка Сан-Анджело, из которой выбрасывается Тоска. Однако существует еще и промежуточная сценическая реальность: должен ли зритель считать вещи и события за сценой *столь же реальными*, как те, что представлены на ней? Разумеется, подложный мир за сценой может быть разрушен вторжением неприкрытого бутафорства, например, когда мы видим, как корпулентная Флория Тоска подскакивает на слишком пружинистом матрасе, положенном сразу за стеной замка. Однако подложность или как минимум сомнительность того, что происходит вне сцены, по сравнению с тем, что происходит на ней, может быть и вполне преднамеренной. Возникает подозрение, что Набоков, намекая нам на грандиозные события, происходящие где-то в другом месте, нарочно приоткрывает свою талью ровно настолько, чтобы зритель мог усомниться в подлинности того, что вынесено за сцену: лекционного зала, съемочной площадки, подвигов рыцаря плаща и шпаги Кузнецова, душегубства Барбашина, похожих на страшный сон воспоминаний де Мэривaля. Зачем это нужно? Цель – и результат – применения подобного приема в этих и других произведениях Набокова сводится к тому, чтобы внимание зрителя или читателя отскочило рикошетом от сомнительной реальности за сценой, *вернулось обратно* и с новой силой сосредоточилось на *зримом* микрокосме пьесы, который приобретает в результате новую, до тех пор не существовавшую рельефность.

Переложение любого драматического произведения для кинематографа приводит к размыванию контуров. Кинематограф способен перенести нас из заново отстроенного театра «Глобус» в гущу реалистической битвы при Агинкуре или из окрестностей Стокгольмской оперы в сюрреалистическую обстановку испытаний Тамино в кинематографическом чистилище за пределами сцены как таковой. Хотя Набоков признавал, что некоторым его произведениям свойственна «кинематографичность»[2], я не стал бы включать киносценарий «Лолиты»

[2] *Набоков В.* Предисловие к «Картофельному эльфу» // A Russian Beauty and Other Stories. New York: McGraw-Hill, 1973.

в список его драматических произведений; скорее сценарий мог бы стать темой отдельного очерка, озаглавленного «Набоков и кинематограф».

В непосредственной связи с темой «странствий», от которой отталкиваются наши рассуждения, находится тема нищего странника (вымышленного родственника русского эмигранта), скитающегося с места на место, с одной работы на другую. Де Мэриваль в «Дедушке» описывает, где он блуждал и чем занимался после того, как избежал эшафота:

> …я в Лондоне угрюмом и сыром
> преподавал науку поединка.
> В России жил, играл на скрипке в доме
> у варвара роскошного… Затем
> по Турции, по Греции скитался.
> В Италии прекрасной голодал.
> Видов видал немало. Был матросом,
> был поваром, цирюльником, портным –
> и попросту – бродягой…

Ему вторит Флэминг в «Полюсе»:

> Юнгой был, водолазом;
> метал гарпун в неслыханных морях.
> О эти годы плаваний, скитаний,
> томлений!..

Федор Федорович в «Человеке из СССР» отдает дань той же теме: «Я уже третий год наслаждаюсь самыми низкими профессиями, – даром что капитан артиллерии». К капитану артиллерии мы вернемся позже. Сейчас же, дабы читатель не понял меня превратно, хочу подчеркнуть, что я привожу эти примеры отнюдь не для того, чтобы продемонстрировать некий сомнительный символизм или сублимацию доли изгнанника. Я лишь хочу показать, каким именно образом этот мотив проявляется в творчестве отца, – причем зачаток его отчетливо прослеживается в одном из аспектов отцовского эмигрантского существования, в новых и неожиданных комбинациях.

Второй так и не воплощенной мечтой Набокова была мечта о лепидоптерологической экспедиции в какие-нибудь экзотические, неизведанные земли. Отец мечтал о Кавказе, об Эльбрусе, а в более поздние годы все чаще говорил об Амазонке. Опять же самое поразительное здесь – не просто ассоциативная связь идей и не романтизация невоплощенной фантазии, а то, какой поэтический узор рождается из этой мечты, складываясь в «Terra incognita», энтомологические странствия Годунова-Чердынцева-старшего в «Даре», космические полеты далекого будущего в «Лансе» и маленькую трагедию «Полюса».

«Полюс» представляет собой намеренно вольное переложение дневников Скотта. Набоков не ставил цели сделать точный репортаж, скорее, путем перекомпоновки элементов, создать напряженную драму человеческих отношений. Даже эпиграф и его атрибуция:

> …He was a very gallant gentleman[3].
>
> *Из записной книжки капитана Скотта*

[3] Он был очень храбрым человеком *(англ.)*.

намеренно неточны. Скотт этих слов не говорил. Их авторство принадлежит членам поисковой группы 1912 года под руководством Э. Л. Аткинсона и А. Черри Жеррарда, которая обнаружила тело полярника. В точности слова эти звучат так: «На этом месте погиб очень храбрый человек». Надпись эта цитируется в двадцать первой главе книги «Последняя экспедиция Скотта», которую Набоков, вероятно, читал на юге Франции в издании 1913-го или 1915 года. Имена также подверглись изменениям, причем в несколько этапов, и, за исключением самого Скотта, ни один из полярников не был назван так, как в действительности. И даже Скотт в ранней рукописной редакции назван Берингом. Абзац в конце пьесы, полностью взятый из дневника Скотта, подчеркнуто изменен Набоковым; то же самое касается многих дат и расстояний. Даже «aurora australis» заменена на «aurora borealis» – думаю, потому, что именно это выражение было распространено в России и, в расширенном смысле, употреблялось для обозначения не только северного, но и южного сияния. Примечательно, что напрямую заимствованы у Скотта лишь две чуть не самых пронзительных фразы. «Я, может быть, пробуду довольно долго…» – говорит Джонсон в пьесе и Оутс в дневнике Скотта, прощаясь со спутниками и уходя умирать среди снегов, дабы не быть им в тягость; «Обидно мне за спутников моих» – слова Скотта. Что касается строчек:

Я, к сожаленью, замечаю,
Что дольше не могу писать… –

то это дословно процитированное последнее предложение из дневника Скотта; впрочем, там есть еще подпись и постскриптум: «Ради всего святого, позаботьтесь о наших людях». «Я, к сожаленью…» – дословная цитата, хотя Скэт произносит эти слова вслух, обращаясь к Флэмингу, а не зачитывает их из своей тетради.

Почему Набокова так привлекали образы бесстрашных первооткрывателей? Роберт Фалькон Скотт воплощал все лучшее, что есть в британцах: хладнокровие перед лицом опасности, тягот и боли, неустанную заботу о своих спутниках и неуклонное следование своему пути, каковой есть одновременно и героическое проявление физической выносливости, и приключение, ставящее своей целью научное открытие. Его неоспоримое мужество, его любовь к точности и поэтизация природы, его сострадание ко всему, что его окружает, – подобными качествами обладал и отец (позднее он наделил ими и равно обреченного Грегсона из «Terra incognita» и, в определенной степени, главного героя «Ланса»); кроме того, даже в самых тяжелых ситуациях Скотту не изменяло чувство юмора (последнее письмо он адресовал «Моей вдове» – Набоков передал эту мысль своему Флэмингу, который говорит: «У Кингсли – вот – невеста, почти вдова…»). Флэминг стоически пытается сохранить – по крайней мере, внешне – оптимизм, показать, что надежда теплится даже тогда, когда трагическая развязка уже неизбежна. В предсмертном бреду Кингсли мерещится, что он привозит своей невесте «гла… гла… гладенького» пингвина (именно так говорил обо мне отец, когда я был совсем маленьким, и до чего же дивно звучат в памяти эти текучие русские слоги!). У Скэта и Джонсона есть реальные прототипы, только у второго изменено имя; у Флэминга и Кингсли – в меньшей степени (некий Кинси был в составе экспедиции, но не в последней партии). Однако суть не в этом: участники реальной экспедиции Скотта и их судьбы являются не более чем отправной точкой. Куда важнее то, как, посредством перекомпоновки и смены фокуса, из исходной ситуации рождается трогательная человеческая драма, со своим миром и своей поэзией. Набоков однажды сказал, что писатель обязан подмечать «то, что есть удивительного в этом веке, малое… и большое, как, например, беспрецедентная свобода мысли, и Луна, Луна. Я помню, с каким восторгом, завистью, смятением я наблюдал на телеэкране первые парящие шаги человека по припорошенной поверхности нашего спутника и как отчаянно я презирал тех, кто считал, что прогулка

в пыли мертвого мира не стоит всех этих денег»[4]. (А я помню, с каким негодованием слушал писателя, весьма популярного в определенных кругах, который, во время роскошного ужина для господ радикалов, выразил надежду, что наши астронавты навсегда застрянут в космосе.)

Кстати, победа Амундсена в гонке к Южному полюсу не является, строго говоря, победой на все времена. Несколько лет назад выяснилось, что положение полюса смещается, так что его пришлось заново «открывать» и наносить на карту. Труд этот взял на себя журналист Хью Даунс, при поддержке сотрудницы Американского топографического центра, картографа Лорин Утс; они снимали один из сюжетов для телевизионной программы «20/20» (ее авторы, видимо, поняли, что полюс и поныне не утратил своей притягательности).

Итак, в «Полюсе» искусство, в определенном смысле, намеренно подражает жизни, но существует пример и прямо противоположный: жизнь (сама того не ведая) подражает искусству. Мало того что многие военно-политические прогнозы Набокова в «Изобретении Вальса» стали провозвестниками современных событий и проблем, – не так давно в итальянской прессе прозвучал явственный отголосок этой пьесы. Как мы помним, Вальс угрожает взорвать большую и весьма отдаленную гору в случае, если правительство не примет его условия, а потом исполняет свою угрозу. Не так давно некий шофер Антонио Каррус, из деревушки неподалеку от Генуи, позвонил в одно из самых крупных информационных агентств Италии и заявил, что в течение ближайших суток в далеком Поззуоли произойдет колебание земной коры. Колебание действительно произошло, после чего Каррус позвонил снова, чтобы «записать землетрясение на свой счет», однако при этом отказался пояснить, как он узнал о нем заранее. «Прибор, открытие, система – думайте что хотите, – сказал он. – Я объясню подробнее, только если правительство начнет серьезно ко мне относиться». Здесь мы почти что слышим голос Вальса, так похожи ситуация, манера поведения и сами слова.

Помимо того, о чем мы говорили выше, следует вспомнить и о других набоковских темах или подтекстах, которые впервые проявляются именно в пьесах. Особенно это касается «Дедушки», где мы видим начатки образов, которые будут полностью раскрыты в поздних книгах отца. Я уже упомянул палача – предшественника мсье Пьера, – с которым де Мэриваль, или Прохожий, снова встречается в «Дедушке». Любопытной параллелью к сюрреалистическому микрокосму этой пьесы является стремительно разрастающийся кошмар в «Посещении музея». Отдаленные намеки, «сопоставленья странные», возникающие у де Мэриваля, когда ему рассказывают, как Дедушка гладит стебли лилий, которым он дал имена «маркизов, герцогинь», как он швыряет в речку корзинку Джульетты, залитую красным вишневым соком, – это холодящие душу отсылки к революционной Франции, в которых очень много общего с запредельным странствием героя «Посещения музея» через музейные залы в послереволюционную Россию.

Пожар, охвативший эшафот и спасший жизнь де Мэривалю, является предвестником того пламени, которое будет вспыхивать и бушевать на страницах других книг. В «Лолите» поворотным моментом в судьбе Гумберта становится пожар, уничтоживший дом, где он должен был поселиться. Пожар, охвативший «Неопалимый Овин», является «преднамеренным совпадением», делающим возможной решающую встречу Вана и Ады. В «Прозрачных вещах» огонь перерастает из темы в наваждение, а потом в развязку.

Спасаясь от пламени, де Мэриваль оказывается среди «потоков дыма», «дыбящихся коней», «людей бегущих». Невольно вспоминается Антон Петрович из рассказа «Подлец», его рывок к спасению, скольжение по почти отвесному, заросшему бузиной склону. Та же тема «скольжения сквозь слои» разовьется в «Бледном пламени» и «Прозрачных вещах» в мотив метафизической проницаемости твердых предметов, мотив слоящихся времени и пространства.

---

[4] Из интервью французской телепрограмме «Apostrophes», 1975.

В самом начале этого очерка я говорил, что некоторые темы, снова и снова возникающие в пьесах отца и в других его произведениях, заслуживают отдельного разговора. Теперь же, рассмотрев их, пусть и вкратце, давайте попробуем понять, куда они ведут.

Я уже высказал некоторые соображения, могущие послужить ключами к творчеству Набокова, – особенно важны два из них. Я отметил его пристрастие к превращению жизни в искусство, в чем он упражнялся на шахматной доске комбинаторных возможностей. Подобно тому как он изобретал «не противоречащих науке» бабочек и «новые деревья» (в Ардисе), он посредством комбинаций превращал жизнь в фантастическую, но правдоподобную реальность. «Я абсолютно убежден, – говорил Набоков, – что между определенными образами моих книг и блистательными, но трудноразрешимыми шахматными задачами – магическими загадками, каждая из которых есть плод тысяча и одной бессонной ночи, – существует непосредственная связь»[5].

Отправной точкой Набокову может служить чистый вымысел (как в «Смехе в темноте», «Отчаянии», «Лолите», «Изобретении Вальса»), переосмысленный собственный опыт (как в «Машеньке» или «Даре»), сознательное удвоение реальности (как в «Аде», «Бледном пламени» и, на одно мгновение, в «Событии»), преломление чьей-то фантазии (как в «Защите Лужина», «Подвиге», «Человеке из СССР»), пережитые другими приключения (как в «Terra incognita», «Лансе», «Полюсе») или исторические события (как в «Дедушке» или, если смотреть через призму, в «Под знаком незаконнорожденных»). Его метод – перекомпоновка материала в своего рода гегельянскую триаду (которую Набоков представлял в виде спирали). Тезис триады (исходный сюжет, событие или идея) расчленяется под микроскопом творчества, и при этом обнажаются его тайны и темные места, в которых обнаруживается антитеза (antiterra incognita, искривление времени и пространства, осязаемое сквозь ткань вымысла). После взаимного наложения и слияния два первых элемента, или витка, триады порождают синтез (элементы, заново организованные в самобытное художественное целое).

«Я нашел в природе те „бесполезные“ упоения, которых искал в искусстве. И та, и другое суть формы магии, и та, и другое – игры, полные замысловатого волхвования и лукавства»[6], – сказал Набоков. Кому, кроме художников и богов, дано переиначивать реальность? Это захватывающий акт творчества. Однако, если заниматься такими перекомпоновками только ради них самих, они превращаются в бесплодные упражнения. Та двойственность, та неопределенность, о которой шла речь выше, это не просто игра. Если говорить о включенных в эту книгу драматических произведениях, то она появляется мимоходом в «Человеке из СССР», возникает в неожиданном ракурсе в «Дедушке» и на мгновение искривляет время и сценическое пространство в «Событии». В других произведениях она получает более отчетливое выражение. Например, в «Даре»:

> На другой день он, Александр Яковлевич Чернышевский, умер, но перед тем пришел в себя, жаловался на мучения и потом сказал (в комнате было полутемно из-за спущенных штор): «Какие глупости. Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: «Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь».
>
> А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз.

[5] Из интервью «Apostrophes».

[6] «Память, говори» (пер. С. Ильина).

Если это так же ясно, как то, что идет дождь, то, выходит, совсем не ясно, ибо дождь – иллюзия. Значит ли это, что *потом что-то есть*?

Ощущение хрупкой, двоящейся реальности еще отчетливее в «Бледном пламени». В состоянии клинической смерти Шейд видит фонтан, а не более привычный туннель. Пораженный этим явлением, он отыскивает женщину, которая, как он узнал из газетной статьи, испытала то же самое. Однако выясняется, что она видела вулкан, причем довольно неубедительный: «Жизнь вечная, построенная впрок на опечатке». Далее следует любопытная инверсия силлогизма Чернышевского:

Я верую разумно: смерти нам
Не следует бояться – где-то там
Она нас ждет, как верую, что снова
Я встану завтра в шесть, двадцать второго
Июля, в пятьдесят девятый год,
И верю, день нетягостно пройдет.
Что ж, заведу будильник, и зевну,
И Шейдовы стихи в их ряд верну[7].

Но в тот же день Шейд закончит свою поэму – и погибнет от пули. Соответственно, уверенность в том, что дочь его по-прежнему жива в ином мире, столь же спорна, как и уверенность в том, что он благополучно проснется на следующее утро (подразумеваемый смысл слов Чернышевского: да, возможно, что-то там существует; слов Шейда: нет, по всей видимости, ничего нет).

Впрочем, в случае с Шейдом этот вывод не является окончательным. Набоков был глубоко убежден – это видно из некоторых его стихотворений, отдельных мест в «Даре», «Прозрачных вещах» и других произведениях, – что ему открыты некоторые истины иного мира, к которым нет доступа другим. Именно этой уверенностью объясняется его удивительная безмятежность (подобная той, что свойственна была Скотту) в самые трудные минуты; публично же он высказался об этом лишь однажды, в одном интервью. На вопрос: «Верите ли вы в Бога?» – отец ответил: «Говоря совершенно откровенно – сейчас я скажу то, чего никогда раньше не говорил, и, надеюсь, слова мои вызовут легкий целительный холодок, – я знаю больше, чем могу высказать словами; и то немногое, что я высказал, осталось бы невысказанным, не будь мне ведомо большее»[8].

Перед смертью Шейд ненадолго начинает говорить устами Набокова-художника. Суть искусства Шейда, как мы знаем из третьей песни, это

…некий вид
Соотнесенных странностей игры,
Узор…

Теперь же, в конце четвертой и последней песни, Шейд заходит еще дальше:

И мне посильно
Постигнуть бытие (не все, но часть
Мельчайшую, мою) лишь через связь

[7] Здесь и далее пер. С. Ильина.

[8] Интервью Элвину Тоффлеру для журнала «Плэйбой», № 11 (январь 1964 г.); перепечатано в «Твердых убеждениях». Я подробно пишу об этой «потусторонности» в: Translating with Nabokov // The Achievements of Vadimir Nabokov / Ed. by George Gibian and Stephen Jan Parker. Ithaca, New York, Center for International Studies, Cornell University, 1984.

С моим искусством, с таинством сближений,
С восторгом прихотливых сопряжений[9];
Подозреваю, мир светил, – как мой, –
Весь сочинен ямбической строкой.

Набоковские пьесы открывают и еще одну, связанную с первой, грань его искусства, которая реже встречает понимание, нежели упомянутый восторг сопряжений.

Говоря словами Мартина Эмиса, Набоков изображает своих наиболее отвратительных персонажей «с таким нравственным усилием», пытаясь по мере сил искупить их вину, что «нравственная картина всегда совершенно прозрачна… Однако попытка инкриминировать то отвратительное, что есть в романах, самому Набокову обречена изначально. Просто дело в том, что отвратительная сторона искусства – это одна из тех вещей, которые Набокову интересны»[10].

Были и такие, кто, подобно покойному Эдмунду Уилсону, инкриминировали Набокову Schadenfreude, считая его бездушным кукловодом, отстраненно равнодушным ко всем горестям своих героев и окружающего мира. Те, кто был знаком с ним ближе, знают, что это решительно не так. А тем, кто знаком с ним не был, вдумчивое и чуткое чтение его книг позволяет увидеть (говоря словами профессора Дениса Донахью) «удивительную нежность к сломанным предметам, искалеченным жизням и людям, не сумевшим понять, кто они такие»[11].

Какую жалость вызывают пожилые, довольно несимпатичные Ошивенские, которых выселяют из квартиры в последнем действии «Человека из СССР». Пусть они лишены душевной чуткости, пусть Ошивенскому не нравится скрипка под окном, но они остались без гроша, а скоро останутся и без крова. Появляется Федор Федорович и объявляет, что нашел им жилье по другому адресу. Адрес этот – «Парадизерштрасе, у Энгеля». Здесь не просто пародируется «парадиз». Это отзвук слов Ошивенского, сказанных непосредственно перед приходом Федора Федоровича: «В раю небесном, дай Бог, увидимся», а также его разговора с женой несколькими минутами раньше:

Ошивенская. И куда это мы теперь денемся? Господи ты Боже мой…

Ошивенский. Прямо в Царство Небесное переедем. Там, по крайней мере, не нужно платить вперед за квартиру.

Эти слова предвосхищают заключительную речь Кузнецова: «Оля, я еду в СССР для того, чтобы ты могла приехать в Россию. И все будут там… И старый Ошивенский доживет, и Коля Таубендорф, и этот смешной Федор Федорович. Все». Можно предположить, что все они отправляются в один и тот же путь; что Ошивенские переселяются не на «Райскую улицу», а «к ангелам, в рай», что поездка в СССР (который никогда не станет прежней Россией) будет для Кузнецова последней. Скрипка, жалобная, «очень плохая» скрипка, звучит снова; Кузнецов замолкает, узнает мелодию, и порожденная этими звуками нежность, которую он подавлял на протяжении всей пьесы, выплескивается в последних строках на поверхность.

Это произведение, удивительно цельное и изысканное, с его игрой тончайших нюансов и особой атмосферой берлинской эмиграции, которую отец так хорошо знал, совершенно уникально. Помимо плохой скрипки есть в нем плохой немецкий язык Кузнецова и его цветистый русский, его откровенно любительская тайная агентурная деятельность. Есть тихая, покорная, беззаветно любящая Ольга Павловна – единственный человек, который одалживает деньги отчаянно нуждающимся в них Ошивенским. Есть беззаботный Федор, который заявляет в самом начале пьесы, что он «капитан артиллерии», – и эти слова находят любопытный отклик в заключительной реплике Кузнецова:

---

[9] Курсив мой. – *Д. Н.*

[10] «Владимир Набоков, великий волшебник». Радиопередача Би-и-си, март 1982 г.

[11] «Владимир Набоков, великий волшебник».

Ольга Павловна *(к нему прижимается).* А ты, Алеша, а ты?

Кузнецов *(одной рукой берет свой чемодан, другой обнимает жену, и оба тихо идут к двери, причем Кузнецов говорит мягко и немного таинственно).* А ты слушай. Жил да был в Тулоне артиллерийский офицер. И вот этот самый артиллерийский офицер…

Уходят.

Значит ли это, что у них с Федором тайный сговор? Или Федора готовят к тому, чтобы он, подобно Наполеону (который в бытность свою капитаном артиллерии, жил в Тулоне), двинулся на Россию? Может, ему повезет больше? Или Кузнецов еще раз напоминает о своем всеведении, на которое уже намекал раньше («И все будут там…»): там, где я окажусь, мне будет ведомо все; возможно, я даже смогу что-то изменить.

Реакция на «Человека из СССР» некоторых читателей в 1985 году вынуждает меня остановиться на одном из аспектов этой пьесы, который может пройти незамеченным для тех, кто не знаком с ее фоном. Но для персонажей это нечто очевидное, насущное и всепроникающее.

Многим из нас доводилось переживать потери и невзгоды, но чаще всего – в качестве сторонних зрителей или временных, второстепенных участников. В большинстве случаев наши взгляды – в том числе и тех из нас, кто бунтует против жизненной рутины, – обусловлены устойчивостью основ и постоянством параметров. Мы испытываем тревогу, когда это устойчивое основание начинает шататься или давать трещины, но нам трудно даже вообразить ситуацию, в которой наши тела и души будут либо заключены в клетку, либо необратимо, неотвратимо вырваны с корнями из родной почвы. А ведь микрокосм русского эмигранта, мающегося без гражданства по Европе в двадцатые – тридцатые годы, был невероятно шатким, лишенным корней и уверенности в будущем. Его Россия более не существовала, Европа, в которую ему пришлось бежать, сотрясалась от подземных толчков надвигающегося катаклизма, статус его был призрачным, заработок и выживание зависели от сметки и удачи. Со временем история и атмосфера эмиграции будут увидены с должного расстояния, но пока события эти слишком свежи в памяти, а их историческая ниша слишком уникальна.

На фоне этой зыбкой, словно кошмарное сновидение, действительности пьеса обретает совершенно особую ауру. В ней заключено куда больше, чем просто тоска по родине. Подлинный фон неустроенного, неприкаянного существования персонажей – ужас и обреченность. Теперь, когда мы рассмотрели иные аспекты пьесы, мы не можем не вернуться к трагическому осознанию того, что судьба этих людей, со всеми их мечтаниями, их прихотями, их слабостями, по сути, предрешена. И только совсем уж невосприимчивый зритель не поймет, что главный герой – не просто антибольшевик, но и человек великого мужества; что его поездка в Россию, по всей видимости, станет последней; что он по-человечески трогателен, слегка смешон и вдобавок отстал от века.

Давайте еще раз, но уже под иным углом, бросим взгляд на «Событие». Ключевая сцена, о которой я уже говорил, возможно, выглядит ирреальной, однако в ней немало реального сострадания. Раздражительная Любовь вдруг становится трогательной, нежной, чуткой. И она, и Трощейкин изо всех сил стараются удержать это состояние смещенного времени и пространства. Но волшебный миг начинает ускользать от обоих. Любовь произносит знаменитые слова Татьяны из «Евгения Онегина»:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была… –

и на этом все заканчивается. Финансовые проблемы, «мерзкая» прислуга Марфа, страх перед Барбашиным наваливаются на них снова. И все же Любовь успевает сказать (и этого уже

никто не отнимет): «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало. Алеша, держи меня ты. Не отпускай». Мальчик давно умер. Вокруг нет никаких мячей, кроме тех, которые служат реквизитом для написания портрета совсем другого ребенка. Если кто и разбил зеркало, так именно этот ребенок. Трощейкин отпускает ее. Безумный гроссмейстер Рубинштейн, живший на рубеже веков, предпочитал играть, обратившись лицом не к сопернику, а к пустому стулу и зеркалу, в котором он видел «собственное отражение или, возможно, настоящего Рубинштейна»[12]. Зеркало – а с ним и заклятие – разбито. Который Трощейкин – настоящий?

Трагический пафос «Полюса» остается постоянным на протяжении всей пьесы. Благородные спортсмены-первооткрыватели обречены на гибель. Кингсли (хотя, в иных смыслах, не он, а Скотт является предтечей Грегсона) бредит. Безликий, одномерный полярный ландшафт (который позднее и, возможно, преднамеренно будет перекомпонован в переплетение тропических тропок в «Terra incognita») служит фоном для порой сюрреалистической атмосферы, созданной внутри человеческой души. Кстати, этот полярный кошмар обладает некоторым сходством с причудливыми видениями и ощущениями, о которых рассказывали первые покорители Эвереста, и даже Уимпер, который вместе со своими спутниками наблюдал загадочных очертаний туманные радуги на Маттерхорне (было ли это вызвано перепадом высот и недостатком кислорода или новизной самого процесса покорения вершины – или полюса – для человеческого рассудка?).

И наконец, давайте опять ненадолго вернемся к «Дедушке». В других пьесах сырьем для перекомпоновки служили вымысел, приключения, автобиографический опыт; здесь же materia prima является исторической, а центральной темой служит извечная нравственная проблема.

Я отношусь к числу тех, кто в настоящее время не считает возможным выступать против смертной казни как способа оградить общество от его неисправимо-вредоносных и очевидно-виновных членов, отец же был убежденным противником этого вида наказания, как и его отец, Владимир Дмитриевич Набоков. Отец был убежден: малейшая возможность того, что хотя бы одна человеческая жизнь будет оборвана незаслуженно, делает смертную казнь совершенно неприемлемой (помню, главной тревогой отца, когда он увидел схваченного Освальда, в синяках и кровоподтеках, было: а вдруг арестовали и избили ни в чем не повинного человека?).

В «Дедушке» Набоков выражает свою точку зрения с куда большей силой, чем самый «социально ориентированный» современный автор. И это невзирая на то, что его в первую очередь интересовало, насколько любой предмет, о котором он станет писать, поддается комбинаторике. Однако точка зрения есть точка зрения, а настоящее искусство, возможно, является наиболее эффективным способом ее выразить.

Осужденный, который лишь по счастливому стечению обстоятельств избежал гильотины, много лет спустя встречает своего палача. Палач обуреваем желанием довести свою работу до конца: таким его сделало общество, потому что сам процесс казни плодит новых убийц. До самой развязки он одержим потребностью убивать. И здесь в разговор вступает художник, чтобы рассмотреть некоторые возможные пути развития этой ситуации.

Процесс творчества, представленный в «Дедушке», может, пожалуй, послужить незаменимым ключом для тех, кто не до конца понимает Набокова, кто критикует его за отстраненность от предмета изображения, Schadenfreude, игру ради игры, асоциальность и прочее.

В образ палача, безнадежно искалеченного обществом, в котором он живет, как и в образ деспота Падука в «Под знаком незаконнорожденных», и в образы незримых вершителей власти в «Приглашении на казнь», отец, безусловно, вкладывает глубочайшее личное чувство. Кто решится утверждать, что чувство это становится менее искренним или воздействует с меньшей силой оттого, что преломляется через призму искусства?

[12] Из интервью «Apostrophes».

Говоря о том, что профессор Донахью определяет как набоковскую «эстетическую соотнесенность с русской литературой и существующей в ней взаимосвязью между искусством и пропагандой»[13], Альфред Казин указывает, что Набоков воспринял и развил традицию некоторых русских формалистов, как поэтов, так и ученых, которые «прежде всего интересовались искусством, в особом смысле этого слова». Это не было «искусство ради искусства» в традиционном смысле, но скорее «идея искусства как новой реальности… идея, с которой Набоков не расставался никогда… Он чувствовал – и в этом смысле он был пророком, что… Ленин ставил своей целью не социальные реформы и не социальную революцию, а нечто совсем иное… Набоков понимал, что Ленину нужна была своя особая реальность. А как мы теперь знаем, например, одна из причин абсолютной безжалостности тоталитаризма заключается в том, что он представляет… коммунизм как особую реальность, приходящую на смену капитализму, и что любой, подвергающий это малейшему сомнению, превращается во врага системы; таким образом, мы имеем дело с эксклюзивной идеей спасения, что само по себе страшно. И Набоков это понимал»[14].

К сожалению, климат той эпохи и ограниченность набоковской аудитории не позволили этим пророчествам повлиять на ход событий. Однако если верно то, что искусство – это реальность и частью этой реальности является взгляд на общественную ситуацию, вправе ли мы обвинять Набокова в отсутствии социальной сознательности?

Набоков ставил знак равенства между красотой, с одной стороны, и состраданием, поэзией, самой жизнью с ее сложными узорами – с другой. Он ненавидел жестокость и несправедливость как в отношении группы людей, так и в отношении отдельного человека. Он с равным состраданием относился и к жертве преступления, и к тому, кто безвинно понес за это преступление кару. Негодование дидактического толка, на какие бы литературные достоинства оно ни претендовало, какую бы точку зрения ни выражало, остается бесплодным. Сострадание истинного художника обладает почти что болезненной остротой; возможно, именно это и вызывает неприятие у некоторых критиков.

[13] «Владимир Набоков, великий волшебник».

[14] «Владимир Набоков, великий волшебник».

Скитальцы
Трагедия в четырех действиях

Перевод с английского Влад. Сирина[15]

Действие первое

*Трактир «Пурпурного Пса». **Колвил** – хозяин – и **Стречер** – немолодой купец – сидят и пьют.*

Стречер

Я проскочил, он выстрелил… Огонь
вдогонку мне из дула звучно плюнул,
и эхо рассмешил, и шляпу сдунул;
нагнулся я, – и вынес добрый конь…
Вина, вина испуг мой томный просит…
Я чувствую, – разбойник мой сейчас
свой пистолет дымящийся поносит
словами окровавленными!

Колвил

Спас
тебя Господь! Стрелок он беспромашный,
а вот поди ж – чуть дрогнула рука.

Стречер

Мне кажется, злодей был пьян слегка:
когда он встал, лохматый, бледный, страшный,
мне, ездоку, дорогу преградив, –
поверишь ли, – как бражник он качался!

Колвил

Да, страшен он, безбожен, нерадив…
Ох, Стречер, друг, я тоже с ним встречался!
Сам посуди, случилось это так:
я возвращался с ярмарки и лесом
поехал я, – сопутствуемый бесом
невидимым. Доверчивый простак,
я песенку мурлыкал. Под узорной

[15] Влад. Сирин – псевдоним Набокова в 1920-1930-е гг. При первой публикации Набоков представил свою пьесу как перевод первого действия трагедии вымышленного английского драматурга Вивиана Калмбруда (Vivian Calmbrood. The Wanderers. London. 1768).

листвой дубов луна лежала черной
и серебристой шашечницей. Вдруг
он выскочил из лиственного мрака
и – на меня!

Стречер

Ой, грех, – мой бедный друг!

Колвил

Не грех, а срам! Как битая собака,
я стал юлить (я – видишь ли – кошель
червонцев вез) и выюлил пощаду…
«Кабатчик, шут, – воскликнул он, – порадуй
побасенкой – веселою, как хмель,
бесстыдною, как тысяча и десять
нагих блудниц, да сочною, как гусь
рождественский! Потешь меня, не трусь,
ведь все равно потом тебя повесить
придется мне». Но худо я шутил…
«Слезай с коня», – мучитель мой промолвил.
Я плакать стал; сказал, что я, Джон Колвил, –
пес, раб его; над страхом распустил
атласный парус лести; побожился,
что в жизни я не видел жирных дней;
упомянул о Сильвии моей
беспомощной, – и вдруг злодей смягчился:
«Я, – говорит, – прощу тебя, прощу
за имя сладкозвучное, которым
ты назвал дочь, но, помни, – с договором!
Лишь верю я вот этому пращу
носатому, с комком сопли свинцовой
в ноздре стальной – всегда чихнуть готовой
и тьму прожечь мокротой роковой…
Но так и быть: поверю и Горгоне,
уродливо застывшей предо мной.
Вот договор: в час бури иль погони
пускай найду в твоем трактире „Пса
Пурпурного“ приют ненарушимый,
бесплатный кров; я часто крался мимо,
хохочущие слышал голоса,
завидовал… Ну что же, ты согласен?»
Он отдал мне червонцы, и бесстрастен
был вид его. Но странно: теплоту
и жажду теплоты – я, пес трусливый,
почуял в нем, как чуешь в день тоскливый
стон журавлей, в туманах на лету
рыдающих… С тех пор раз восемь в месяц

приходит он спокойно в мой кабак,
как лошадь пьет, грозит меня повесить
иль Сильвию, шутя, вгоняет в мак.

Входит Сильвия.

Вот и она. Ты побеседуй, Стречер,
а у меня есть дело…

(Уходит в боковую дверь.)

Стречер

Добрый вечер,
медлительная Сильвия; я рад,
что здесь опять склоняюсь неумело
перед тобой; что ты похорошела;
что темные глаза твои горят,
лучистого исполнены привета,
прекрасные, как солнечная ночь, –
когда б Господь дозволил чудо это…

Сильвия

Смеетесь вы…

Стречер

Смеяться я не прочь;
но, Сильвия, смеяться я не смею
перед святыней тихой чистоты…

Сильвия

Мы с мая вас не видели…

Стречер

И ты
скучала?

Сильвия

Нет. Скучать я не умею:
все Божьи дни – души моей друзья,
и нынешний – один из них…

Стречер

Мне мало…
Ах, Сильвия, ты все ли понимала,
когда вот здесь тебе молился я,
и вел с тобой глубокую беседу,
и объяснял, что на лето уеду,
чтоб ты могла обдумать в тишине
мои слова. Печально, при луне,
уехал я. С тех пор тружусь, готовлю
грядущее. В июне я торговлю
открыл в недальнем Гровсей. Я теперь
уж не бедняк… О Сильвия, поверь,
куплю тебе и кольца, и запястья,
и гребешки… Уже в мешках моих
немало тех яичек золотых,
в которых спят – до срока – птицы счастья…

Сильвия

Вы знаете, один мне человек
на днях сказал: нет счастия на свете;
им грезят только старики да дети;
нет счастия, а есть безумный бег
слепого, огневого исполина,
и есть дешевый розовый покой
двух карликов из воска. Середина
отсутствует…

Стречер

Да, сказано… Какой
дурак изрек загадку эту?

Сильвия

Вовсе
он не дурак!

Стречер

А! Знаю я его!
Не царствует ли это божество
в глухих лесах от Глумиглэн до Гровсей
и по дороге в Старфильд?

Сильвия

Может быть…

Стречер

Так этот волк, так этот вор кровавый
тебе, тебе приятен? Боже правый!
Отец твой – трус: он должен был убить,
убить его, ты слышишь? Что ж, прекрасно
устроился молодчик: пьет и жрет
да невзначай красотку подщипнет…
У, гадина!..

Сильвия

Он – человек несчастный…

Незаметно возвращается Колвил.

Стречер

Несчастного сегодня встретил я…
Конь шагом шел, в седле дремал я сладко;
вдруг из кустов он выполз, как змея;
прищурился, прицелился украдкой;
тогда, вздохнув, – мне было как-то лень, –
я спешился и так его шарахнул,
так кулаком его по брылам трахнул,
что крикнул он и тихо сел на пень,
кровавые выплевывая зубы…
«Несчастный» – ты сказала? Да ему бы
давно пора украсить крепкий сук
осиновый! «Несчастный» – скажет тоже!
Он подошел, а я его по роже
как звездану…

Колвил

Э, полно, полно, друг!
Хоть ты у нас боец небезызвестный, –
но мнится мне, что воду правды пресной
ты подцветил вином невинной лжи.

Стречер

Ничуть… Ничуть!

Колвил

Твой подвиг беспримерен,
и ты – герой; но, друг мой, расскажи,
как это так, что в мыле смирный мерин,
а сам герой без шапки прискакал?

Сильвия

Оставь, отец: меня он развлекал
лишь вымыслом приятным и искусным.
Он говорил…

Стречер

Я говорил одно:
я говорил, что Сильвии смешно
умильничать с бродягой этим гнусным;
я говорил, что кровью все леса
измызгал он, что я его, как пса…

Колвил

Довольно, друг! Задуй свой гнев трескучий,
не прекословь девическим мечтам;
ведь сто очей у юности, и там,
где видим мы безобразные тучи,
она увидит рыцарей, щиты,
струящиеся перья и кресты
лучистые на сумрачных кольчугах.
Расслышит юность в бухающих вьюгах
напевы дивья. Юность любит тьму
лесную, тьму высоких волн, туманы,
туманы и туманы, – потому,
что там, за ними, радужные страны
угадывает юность… Подожди,
о, подожди, – умолкнут птицы-грезы
о сказочном, сверкающие слезы
иссякнут, верь, как теплые дожди
весенние, и выцветут виденья…

Стречер

Давно я жду, и в этом наслажденья
не чувствую; давно я, как медведь,
вокруг дупла душистого шатаюсь,
не смея тронуть мед… Я допытаюсь,
я доберусь… Я требую ответ,
насмешливая Сильвия: пойдешь ли
ты за меня?..

Стук в наружную дверь.

Слыхали?.. Этот стук…
Он, может быть…

Колвил

О нет; наш вольный друг
стучит совсем иначе.

Стук повторный.

Голос за дверью

Отопрешь ли,
телохранитель Вакха?

Колвил

Это он, –
хоть стук и необычен. Стречер, милый,
куда же ты?

Стречер

Я очень утомлен,
пойду я спать…

Голос

Открой! Промокли силы…
Ох, жизнь мою слезами гасит ночь.

Стречер

Я, право, утомлен…

Колвил

Ступай же, дочь,
впусти его; а нашему герою
тем временем я норку покажу.

Колвил и Стречер уходят.

Голос

Да это гроб, а не кабак!..

Сильвия
(идет к двери)

Открою,

откроюˆ…

Входит Проезжий.

Ах!..

Проезжий

Однако – не скажу,
красавица, чтоб ты спешить любила,
хоть ты любить, пожалуй, и спешишь…
Да что с тобой? Ты на меня глядишь
растерянно… Ведь я же не граби`ла…

Сильвия

Простите, путник строгий…

Проезжий

Позови
хозяина. Прости и мне: брюзгливо
я пошутил; усталость неучтива.
Мне нравятся печальные твои
ресницы.

Сильвия

Плащ снимите да садитесь
сюда, к огню.

Сильвия выходит в боковую дверь. Меж тем кучер и трактирный слуга вносят вещи Проезжего и выходят опять. Он же располагается у камина.

Проезжий

Ладони, насладитесь
живым теплом алеющих углей!
Подошвы, задымитесь, пропуская
блаженный жар! И ты будь веселей,
моя душа! Смотрю в огонь: какая
причудливая красочность! Смотрю –
и город мне мерещится горящий,
и вижу я сквозь траурные чащи
пунцовую, прозрачную зарю,
и голубые ангелы на глыбах
оранжевых трепещут предо мной!
А то в подвижных пламенных изгибах
как будто лик мне чудится родной:

улыбка мимолетная блистает,
струятся пряди призрачных волос, –
но паутина радужная слез
перед глазами нежно расцветает
и ширится, скрывая от меня
волшебный лик – мой вымысел минутный, –
и вновь сижу я в полумгле уютной,
обрызганной рубинами огня…

Входит Колвил.

Колвил
(про себя)

Дочь не шутила… Впрямь он незнаком мне…
Но голос…

Проезжий

Здравствуй, друг бездомных! Помни
пословицу: кто всем приют дает,
себе приют в любой звезде найдет…

Колвил

Мне голос ваш напомнил, ваша милость,
ночь в глушнике…

Проезжий

И, верно, вой зверей
голодных. Да, душа моя затмилась
от голода… Но прежде – лошадей
и моего возницу (мы изрядно
сегодня потрепались) накорми.

Колвил

Слуга мой Джим займется лошадьми
и остальным… Но вам, о гость отрадный,
чем услужу? Тут, в погребе сыром,
есть пенистое пиво, рьяный ром,
степенный порт, малага-чародейка…

Проезжий

Я голоден!

Колвил

Есть жирная индейка
с каштанами, телятина, пирог,
набитый сладкой дичью…

Проезжий

Это вкусно.
Тащи скорей.

Хозяин и дочь его хлопочут у стола.
(Про себя.)

Узнать, спросить бы… да,
спрошу… нет, страшно…

Колвил
(суетится)

Хлеб-то где ж? Беда
с тобою, дочь!

Проезжий
(про себя)

Спрошу…

Колвил

Червяк капустный –
ох, Сильвия – в салат попал опять!

Проезжий
(про себя)

Нет…

Колвил

Кружку! Да не эту! Вот разиня…
Да двигайся! Подумаешь, – богиня
ленивая… Ну вот. Ты можешь спать
теперь идти.

Сильвия уходит.

Проезжий
(садится за стол)

Отселе – далеко ли
до Старфильда?

Колвил

Миль сорок пять, не боле.

Проезжий

Там… в Старфильде… семья есть… Фаэрнэт, –
не знаешь ли? Быть может, вспомнишь?

Колвил

Нет,
не знаю я; бываю редко в этом
плющом увитом, красном городке.
В последний раз в июне этим летом,
на ярмарке…

(Смолкает, видя, что Проезжий задумался.)

Проезжий
(про себя)

Там, в милом липнике,
я первую прогрезил половину
нескучной жизни. Завтра, чуть рассвет,
вернусь туда; на циферблате лет
назад, назад я стрелку передвину,
и снова заиграют надо мной
начальных дней куранты золотые…
Но если я – лишь просеки пустые
кругом найду, но если дом родной
давно уж продан, – Господи, – но если
все умерли, все умерли, и в кресле
отцовском человек чужой сидит,
и заново обито это кресло,
и я пойму, что детство не воскресло,
что мне в глаза с усмешкой смерть глядит!

(Вздыхает и принимается есть.)

Колвил

Осмелюсь понаведаться: отколе
изволите вы ехать?

Проезжий

Да не все ли
тебе равно? И много ль проку в том,
что еду я, положим, из Китая, –
где в ноябре белеют, расцветая,
вишневые сады, пока в твоем
косом дворце огонь, со стужей споря,
лобзает очарованный очаг?..

Колвил

Вы правы, да, вы правы… Я – червяк
в чехольчике… Не видел я ни моря,
ни синих стран, сияющих за ним, –
но любопытством детским я дразним…
Тяжелый желтый фолиант на рынке
для Сильвии задумчивой моей
я раз купил; в нем странные картинки,
изображенья сказочных зверей,
гигантских птиц, волов золоторогих,
людей цветных иль черных, одноногих
иль с головой, растущей из пупа…
Отец не слеп, а дочка не глупа:
как часто с ней, склонившись напряженно,
мы с книгою садимся в уголке,
и, пальчиком ее сопровожденный,
по лестницам и галереям строк,
дивясь, бредет морщинистый мой палец,
как волосатый сгорбленный скиталец,
вводимый бледным маленьким пажом
в прохлады короля страны чудесной!..
Но я не чувствую, что здесь мне тесно,
когда в тиши читаю о чужом
чарующем причудливом пределе;
довольствуюсь отчизною. Тепло,
легко мне здесь, где угли эти рдели
уж столько зим, метелицам назло…

Проезжий
(набивая трубку)

Ты прав, ты прав… В бесхитростном покое
ты жизнь цедишь… Все счастие мирское
лишь в двух словах: «я дома…»

Троекратный стук в дверь.

Колвил
(идет к двери)

Вот напасть…

Осторожно входит Разбойник.

Разбойник

Пурпурный пес, виляй хвостом! Я снова
пришел к тебе из царствия лесного,
где ночь темна, как дьяволова пасть!

Он и Колвил подходят к камину. Проезжий сидит и курит в другом конце комнаты и не слышит их речей.

Мне надоела сумрачная пышность
дубового чертога моего…
Ба! Тут ведь пир! Кто это существо
дымящее?

Колвил

Проезжий, ваша хищность.
Он возвращается из дальних стран,
из-за морей…

Разбойник

А может быть, из ада?
Не правда ли? Простужен я и пьян…
Дождь – эта смесь воды святой и яда –
всю ночь, всю ночь над лесом моросил;
я на заре зарезал двух верзил,
везущих ром, и пил за их здоровье
до первых звезд, – но мало, мало мне:
хоть и тяжел, как вымище коровье,
в твой кабачок зашел я, чтоб в вине
промыть свою раздувшуюся душу;
отрежь и пирога.

(Подходит к Проезжему.)

Кто пьет один,
пьет не до дна. Преславный господин,
уж так и быть, подсяду я, нарушу
задумчивость лазурного венка,
плывущего из вашей трубки длинной…

Проезжий

Тем лучше, друг. Печалью беспричинной
я был увит.

Разбойник

Простите простака,
но этот луч на смуглой шуйце вашей
не камень ли волшебный?

Проезжий

Да, – опал.
В стране, где я под опахалом спал,
он был мне дан царевною, и краше
царевны – нет.

Разбойник

Позвольте, отчего ж
смеетесь вы – так тонко и безмолвно?
Или мое невежество…

Проезжий

Да полно!
Смешит меня таинственная ложь
моих же чувств: душа как бы объята
поверием, что это все когда-то
уж было раз: вопрос внезапный ваш
и мой ответ; мерцанье медных чаш
на полке той; худые ваши плечи
и лоск на лбу высоком, за окном –
зеркальный мрак; мечтательные свечи
и крест теней на столике резном;
блестящие дубовые листочки
на ручках кресла выпуклых и точки
огнистые, дрожащие в глазах,
знакомых мне…

Разбойник

Пустое… Лучше мне бы
порассказали вы: в каких морях
маячили, ночное меря небо?
Что видели? Где сердце и следы
упорных ног оставили, давно ли
скитаетесь?

Проезжий

Да что ж, по Божьей воле,
семнадцать лет… Эй, друг, дай мне воды,
во мне горит твое сухое тесто.

Колвил
(не оглядываясь, из другого конца комнаты)

Воды? Воды? Вот чудо-то… Сейчас.

Разбойник

Семнадцать лет! Успела бы невеста
за это время вырасти для вас
на родине… Но, верно, вы женаты?

Проезжий

Нет. Я оставил в Старфильде родном
лишь мать, отца и братьев двух…

Колвил
(приносит и ставит воду перед Разбойником)

Вином
вы лучше бы запили…

Разбойник

Шут пузатый!
Куда ж ты прешь? Куда ж ты ставишь, пес?
Не я просил, – а дурень мне принес!
Ведь я не роза и не рыба… Что же
ты смотришь так?

Колвил

Но ваши голоса
так жутко, так причудливо похожи!

Проезжий

Похожи?..

Колвил

Да: как морось и роса,
Заря и зарево, слепая злоба
и слепота любви; и хриплы оба:

один – от бочек выпитых, другой –
простите мне, о гость мой дорогой, –
от тайной грусти позднего возврата…

Разбойник
(обращаясь к Проезжему)

Как звать тебя?

Проезжий

Мне, право, странно…

Разбойник

Нет,
ответь!..

Проезжий

Извольте: Эрик Фаэрнэт.

Разбойник

Ты, Эрик, ты? Не помнишь, что ли, брата?
Роберта?

Эрик

Господи, не может быть!..

Роберт

Не может быть? Пустое восклицанье!..

Эрик

О милый брат, меня воспоминанье
застывшее заставило забыть,
что должен был твой облик измениться…
Скорей скажи мне: все ли живы?

Роберт

Все…

Эрик

Благодарю вас, дни и ночи!.. Мнится,

уж вижу я – на светлой полосе
родной зари – чернеющую крышу
родного дома; мнится мне, уж слышу
незабываемый сладчайший скрип
поспешно открываемой калитки…
Брат, милый брат, все так же ль листья лип
лепечут упоительно? Улитки
все так же ль после золотых дождей
на их стволах вытягивают рожки?
Рыжеют ли коровы средь полей?
Выходят ли на мокрые дорожки
танцующие зайчики? Скажи,
все так же ли в зеленой полумгле
скользит река? И маленькие маки
алеют ли в тумане теплой ржи?
А главное: как вам жилось, живется?
Здорова ль мать и весел ли отец?
Как брат Давид, кудрявый наш мудрец?
Все так же ль он за тучи молча рвется,
в огромные уткнувшись чертежи?
И кто ты сам? Что делаешь, скажи?
Я признаюсь: мне вид твой непонятен;
в глазах – тоска, и сколько дыр и пятен
на этих кожаных одеждах… Что ж,
рассказывай!

Роберт

Ты хочешь? Пес пурпурный,
скажи – кто я?

Колвил

Вы – честный…

Роберт

Лжешь…

Колвил

Вы – честный, но мятежный…

Роберт

Лжешь…

Колвил

Вы – бурный,
но добрый…

Роберт

Лжешь!

Колвил

Вы – князь лесной, чей герб –
кистень, а эпитафия – веревка!

Роберт

Вот это так! Ты, брат, слыхал? Что, ловко?

Эрик

Не шутку ли ты шутишь?..

Роберт

Нет. В ущерб
твоей мечте – коль ты мечтал увидеть
все качества подлунные во мне, –
разбойник я, живущий в глубине
глухих лесов… Как стал я ненавидеть
сиянье дня, как звезды разлюбил,
как в лес ушел, как в первый раз убил –
рассказывать мне скучно… Я заметил –
зло любит каяться, а добродетель –
румяниться; но мне охоты нет
за нею волочиться… Доблесть – бред,
день – белый червь, жизнь – ужас бесконечный
очнувшегося трупа в гробовом
жилище…

Эрик

Словно в зеркале кривом
я узнаю того, чей смех беспечный
так радовал, бывало, нашу мать…

Роберт

Убийца я!

Эрик

Молчи же…

Роберт

Бесшабашный
убийца!

Эрик

О, молчи! Мне сладко, страшно
над бездною склоняться и внимать
твоим глазам, беспомощно кричащим
на ломаном и темном языке
о царстве потонувшем, о тоске
изгнанья…

Роберт

Брат! По черным, чутким чащам –
живуч, как волк, и призрачен, как рок, –
крадусь, таюсь, взвинтив тугой курок:
убийца я!

Эрик

Мне помнится: в далеком
краю, на берегу реки с истоком
неведомым, однажды, в золотой
и синий день, сидел я под густой
лоснящейся листвою, и кричали,
исполнены видений и печали,
лазоревые птицы, и змея
блестящая спала на теплом камне;
загрезил я, – как вдруг издалека мне
послышалось пять шорохов, и я
увидел вдруг между листов узорных
пять белоглазых, красногубых, черных
голов… Я встал – и вмиг был окружен…
Мушкет мой был, увы, не заряжен,
а слов моих они не понимали;
но, сняв с меня одежды, дикари
приметили вот это… посмотри…
головки две на выпуклой эмали –
ты и Давид: тебе здесь восемь лет,
Давиду – шесть; я этот амулет –
дар матери – всегда ношу на теле;
и тут меня он спас на самом деле:
поверишь ли, что эти дикари
метнулись прочь, как тени – от зари,

ослеплены смиренным талисманом!

Роберт

О, говори! Во мне светлеет кровь…
Не правда ль, мир – любовь, одна любовь, –
румяных уст привет устам румяным?
Иль мыслишь ты, что жизнь – больного сон?
Что человек, должник природы темной,
отплачивать ей плачем обречен?
Что зримая вселенная – огромный,
холодный монастырь и в нем земля –
черница средь черниц золотоглазых –
смиренно смерти ждет, чуть шевеля
губами? Нет! В живых твоих рассказах
не может быть печали; уловлю
в их кружеве улыбку… Брат! Давно я
злодействую, но и давно скорблю!
Моя душа – клубок лучей и гноя,
смесь жабы с лебедем… Моя душа –
молитва девушки и бред пирата;
звезда в лазури царственной и вша
на смятом ложе нищего разврата!
Как женщина брюхатая, хочу,
хочу я Бога… Бога… слышишь, – Бога!
Ответь же мне, – ты странствовал так много! –
ответь же мне – убийце, палачу
своей души, замученной безгласно, –
встречал ли ты Его? Ты видел взор
персидских звезд; ты видел, странник страстный,
сияющие груди снежных гор,
поднявшие к младенческой Авроре
рубины острые; ты видел море, –
когда луна голодная зовет
его, дрожит, с него так жадно рвет
атласные живые покрывала
и все сорвать не может…
И ласкал
мороз тебя в краю алмазных скал,
и вьюга в исступленье распевала…
А то вставал могучий южный лес,
как сладострастие, глубоко-знойный;
ты в нем плутал, любовник беспокойный,
распутал волоса его; залез,
трепещущий, под радужные фижмы
природы девственной… Счастливый брат!
Ты видел все и все привез назад,
что видел ты! Так слушай: дай мне, выжми
весь этот мир, как сочно-яркий плод,

сюда, сюда, в мою пустую чашу:
сольются в ней огонь его и лед;
отпраздную ночную встречу нашу;
добро со злом; уродство с красотой,
как влагу сказочную, выпью!..

Эрик

Стой!
Твои слова безумны и огромны…
Ты мечешься, обломки мысли темной
неистово сжимая в кулаке,
и тень твоя – вон там, на потолке, –
как пьяный негр, шатается. Довольно!
Я понял ночь, увидя светляка:
в душе твоей горит еще тоска, –
а было некогда и солнце… Больно
мне думать, брат, о благостном былом!
Ты помнишь ли, как наша мать, бывало,
нас перед сном так грустно целовала,
предчувствуя, что ангельским крылом
не отвратить тлетворных дуновений,
самума сокрушительных тревог?..
Ты помнишь ли, как дышащие тени
блестящих лип ложились на порог
прохладной церкви и молились с нами?
Ты помнишь ли: там девушка была
с глубокими пугливыми глазами,
лазурными, как в церкви полумгла;
две розы ей мы как-то подарили…
Пойдем же, брат! Довольно мы бродили…
Нас липы ждут… Домой, пора домой –
к очарованьям жизни белокрылой!
Ты скрыл лицо? Ты вздрагиваешь? Милый,
ты плачешь, да? Ты плачешь? Боже мой!
Возможно ли! Хохочешь ты, хохочешь!..

Роберт

Ох… уморил!..

Эрик

Да что сказать ты хочешь?

Роберт

Что я шутил, а гусь поверил… Брось,
святоша, потолкуем простодушней!

Ведь из дому ты вылетел небось,
как жеребец – из сумрачной конюшни!
Да, мир широк, и много в нем кобыл,
податливых, здоровых и красивых, –
жен всех мастей, каурых, белых, сивых,
и вороных, и в яблоках, – забыл?
Небось, пока покусывал им гривы,
не думал ты, мой пилигрим игривый,
о девушке под липами, о той,
которую ты назвал бы святой,
когда б она теперь не отдавала
своей дырявой святости внаем?

Эрик

Я был прельщен болотным огоньком:
твоя душа мертва… В ней два провала,
где очи ангела блистали встарь…
Ты жалок мне… Да, видно, я – звонарь
в стране, где храмов нет…

Роберт

Зато есть славный
кабак. Холуй, вина! Пей, братец, пей!
Вот кровь моя… Под шкурою моей
она рекой хмельной и своенравной
течет, течет, – и пляшет разум мой,
и в каждой жиле песня.

Эрик

Боже, Боже!
Как горестно паденье это! Что же
я расскажу, когда вернусь домой?

Роберт

Не торопись, не торопись… Возможно,
что ты – простак, а я – свидетель ложный
и никого ты дома не найдешь…
Возможно ведь?

Эрик

Кощунственная ложь!
Хозяин, повели закладывать… Не в силах
я дольше ждать!

(Ходит взад и вперед.)

Роберт

Подумай о могилах,
которые увидишь ты вокруг
скосившегося дома…

Эрик

Заклинаю
тебя! Признайся мне, – ты лгал?

Роберт

Не знаю.

Колвил
(возвращается)

Возок ваш на дворе.

Эрик

Спасибо, друг.

(К Роберту.)

Последний раз прошу тебя… а впрочем, –
ты вновь солжешь…

Роберт

Друг друга мы морочим:
ты благостным паломником предстал,
я – грешником растаявшим! Забавно…

Эрик

Прощай же, брат! Не правда ль, время славно
мы провели?

Колвил и кучер выносят вещи.

Колвил
(в дверях)

А дождик перестал…

Эрик
(выходит за ним)

Жемчужный щит сияет над туманом.

В комнате остается один Роберт.

Голос кучера

Эй, милые…

Пауза. Колвил возвращается.

Колвил

Да… братья… грех какой!

Роберт

Ты что сказал?!

Колвил

Я – так, я – сам с собой.

Роберт

Охота же болтать тебе с болваном!..

Колвил

Да с кем же мне? Одни мы с вами тут…

Роберт

Где дочь твоя?

Колвил

Над ней давно цветут
сны легкие…

Роберт
(задумчиво)

Когда бы с бурей вольной
меня в ночи сам бес не обвенчал –
женился б я на Сильвии…

Колвил

Довольно
и бури с вас.

Роберт

Ты лучше бы молчал.
Я не с тобой беседую.

Колвил

А с кем же?
Не с тем же ли болваном, с кем и я
сейчас болтал?

Роберт

Не горячись. Не съем же
я Сильвии, – хоть, впрочем, дочь твоя
по вкусу мне приходится…

Колвил

Возможно…

Роберт

Да замолчи! Иль думаешь, ничтожный,
что женщину любить я не могу?
Как знаешь ты: быть может, берегу
в сокровищнице сердца камень нежный,
впитавший небеса? Как знаешь ты:
быть может, спят тончайшие цветы
на тихом дне под влагою мятежной?
Быть может, белой молнией немой
гроза любви далекая тревожит
мою удушливую ночь? Быть может…

Колвил
(перебивает)

Вот мой совет: вернитесь-ка домой,
как блудный сын, покайтесь, и отрада
спокойная взойдет в душе у вас…
А Сильвию мою смущать не надо,
не надо… слышите!

Роберт

Я как-то раз
простил тебе, что ты меня богаче
случайно был… теперь же за совет
твой дерзостный, за этот лай собачий
убью тебя!

Колвил

Да что-то пистолет
огромный ваш не страшен мне сегодня!
Убийца – ты, а я, прости, не сводня,
не продаю я дочери своей…

Роберт

Мне дела нет до этой куклы бледной,
но ты умрешь!

Колвил

Стреляй же, гад, скорей!

Роберт
(целясь)

Раз… два… аминь!

Но выстрелить он не успевает: боковая дверь распахивается и входит, вся в белом, Сильвия, она блуждает во сне.

Сильвия

О бедный мой, о бедный…
Как холодно, как холодно ему
в сыром лесу осеннею порою!..
Тяжелый ключ с гвоздя сейчас сниму…
Ах, не стучись так трепетно! Открою,
открою, мой любимый… Ключ
держу в руке… Нет! Поздно! Превратился
он в лилию… Ты – здесь, ты возвратился?
Ах, не стучись! Ведь только лунный луч
в руке держу, и эту дверь нет мочи
им отпереть…

Колвил
(уводит ее)

Пойдем, пойдем… Храни

тебя Господь… Не надо же… Сомкни
незрячие, страдальческие очи.

Сильвия

Ключ… Лилия… Люблю… Луна…

Колвил

Пойдем.

Оба уходят.

Роберт
(один)

Она прошла прозрачно-неживая
и музыкой воздушною весь дом
наполнила; прошла, – как бы срывая
незримые высокие цветы,
и бледные протягивались руки
таинственно, и полон смутной муки
был легкий шаг… Она чиста… А ты,
убогий бес, греши, греши угрюмо!
В твоих глазах ночная темнота…
Кто может знать, что сердце жжет мне дума
об ангеле мучительном, мечта
о Сильвии… другой… голубоокой?
Вся жизнь моя – туманы, крики, кровь,
но светится во мгле моей глубокой,
как лунный луч, как лилия, – любовь…

Конец первого действия

Смерть
Драма в двух действиях

Действие происходит в университетском городе Кембридж весною 1806 года.

Действие первое

Комната. В кресле, у огня, – ***Гонвил****, магистр наук.*

Гонвил

…И эту власть над разумом чужим
сравню с моей наукою: отрадно
заране знать, какую смесь получишь,
когда в стекле над пламенем лазурным
медлительно сливаются две соли,
туманную окрашивая колбу.
Отрадно знать, что сложная медуза,
в шар костяной включенная, рождает
сны гения, бессмертные молитвы,
вселенную…
Я вижу мозг его,
как будто сам чернилами цветными
нарисовал, – и все же есть одна
извилина… Давно я бьюсь над нею, –
не выследить… И только вот теперь,
теперь, – когда узнает он внезапно –
а! в дверь стучат… Тяжелое кольцо
бьет в медный гриб наружный: стук знакомый,
стук беспокойный…

(Открывает.)
Вбегает Эдмонд, молодой студент.

Эдмонд

Гонвил! Это правда?..

Гонвил

Да… Умерла…

Эдмонд

Но как же… Гонвил!..

Гонвил

Да…
Не ожидали… Двадцать лет сжималось
и разжималось сердце, кровь живую
накачивая в жилы и обратно
вбирая… Вдруг – остановилось…

Эдмонд

Страшно
ты говоришь об этом… Друг мой… Помнишь?..
Она была так молода!..

Гонвил

Читала
вот эту книжку: выронила…

Эдмонд

Жизнь –
безумный всадник. Смерть – обрыв нежданный,
немыслимый. Когда сказали мне –
так, сразу, – я не мог поверить. Где же
она лежит? Позволь мне…

Гонвил

Унесли…

Эдмонд

Как странно… Ты не понимаешь, Гонвил:
она всегда ходила в темном… Стелла –
мерцающее имя в темном вихре.
И унесли… Ведь это странно, – правда?..

Гонвил

Садись, Эдмонд. Мне сладко, что чужая
печаль в тебе находит струны… Впрочем,
с моей женой ты, кажется, был дружен?

Эдмонд

Как ты спокоен, Гонвил, как спокоен!..
Как утешать тебя? Ты – словно мрамор:
торжественное белое страданье…

Гонвил

Ты прав, – не утешай. Поговорим
о чем-нибудь простом, земном. Неделю
ведь мы с тобой не виделись. Что делал?
О чем раздумывал?

Эдмонд

О смерти.

Гонвил

Полно!
Ведь мы о ней беседовали часто.
Нет – будем жить. В темницу заключенный
за полчаса до казни – паука
рассматривает беззаботно. Образ
ученого пред миром.

Эдмонд

Говорил ты,
что наша смерть…

Гонвил

…быть может, удивленье,
быть может – ничего. Склоняюсь, впрочем,
к последнему; но есть одно: крепка
земная мысль: прервать ее стремленье
не так легко…

Эдмонд

Вот видишь ли, – я мучусь…
Мне кажется порой: душа – в плену, –
рыдающая буря в лабиринте
гудящих жил, костей и перепонок.
Я жить боюсь. Боюсь я ощущать
под пальцами толчки тугие сердца,
здесь – за ребром – и здесь, на кисти, – отзвук.
И видеть, мыслить я боюсь – опоры
нет у меня, – зацепки нет. Когда-то
я тихо верил в облачного старца,
сидящего средь призраков благих.
Потом в опустошительные книги
качнулся я. Есть книги как пожары…
Сгорело все. Я был один. Тянуло

пустынной гарью сумрачных сомнений, –
и вот, в дыму, ты, Гонвил, появился –
большеголовый, тяжкий, напряженный,
в пронзительно сверкающих очках,
с распоротою жабой на ладони…
Ты щипчиками вытащил за узел
мои слепые слипшиеся мысли,
распутал их, – и страшной простотой
мои сомненья заменил… Наука
сказала мне: «Вот – мир», – и я увидел
ком земляной в пространстве непостижном –
червивый ком, вращеньем округленный,
тут плесенью, там инеем покрытый…
И стала жизнь от этой простоты
еще сложней. По ледяной громаде
я заскользил. Догадки мировые –
все, древние и новые, – о цели,
о смысле сущего – все, все исчезли
пред выводом твоим неуязвимым:
ни цели нет, ни смысла; а меж тем
я втайне знал, что есть они!.. Полгода
так мучусь я. Бывают, правда, утра
прозрачные, восторженно-земные,
когда душа моя – подкидыш хилый –
от солнца розовеет и смеется
и матери неведомой прощает…
Но, с темнотой, чудовищный недуг
меня опять охватывает, душит:
средь ужаса и гула звездной ночи
теряюсь я; и страшно мне не только
мое непониманье, – страшен голос,
мне шепчущий, что вот еще усилье –
и все пойму я… Гонвил, ты любил
свою жену?..

Гонвил

Незвучною любовью,
мой друг, – незвучной, но глубокой… Что же
меня ты спрашиваешь?

Эдмонд

Так. Не знаю…
Прости меня… Не надо ведь о мертвых
упоминать… О чем мы говорили?
Да, – о моем недуге: я боюсь
существовать… Недуг необычайный,
мучительный, – и признаки его:

озноб, тоска и головокруженье.
Приводит он к безумию. Лекарство,
однако, есть. Совсем простое. Гонвил,
решил я умереть.

Гонвил

Похвально. Как же
ты умереть желаешь?

Эдмонд

Дай мне яду.

Гонвил

Ты шутишь?

Эдмонд

Там, вон там, в стене, на полке,
за черной занавеской, – знаю, знаю, –
стоят, блестят наполненные склянки,
как разноцветные оконца – в вечность…

Гонвил

…Иль в пустоту. Но стой, Эдмонд, послушай, –
кого-нибудь ведь любишь ты на свете?
Иль, может быть, любовью ты обманут?

Эдмонд

Ах, Гонвил, знаешь сам!.. Друзья мои
дивятся все и надо мной смеются,
как, может быть, цветущие каштаны
над траурным смеются кипарисом.

Гонвил

Но в будущем… Как знать? На перекрестке…
нечаянно… Есть у тебя приятель –
поэт: пусть скажет он тебе, как сладко
над женщиной задумчивой склоняться,
мечтать, лежать с ней рядом, – где-нибудь
в Венеции, когда в ночное небо
скользит канал серебряною рябью
и, осторожно, черный гриф гондолы
проходит по лицу луны…

Эдмонд

Да, – правда,
в Италии бывал ты и оттуда
привез…

Гонвил

…жену…

Эдмонд

Нет, – сказочные смерти,
играющие в полых самоцветах…
Я, Гонвил, жду… Но что же ты так смотришь,
гигантский лоб наморщив? Гонвил, – жду я,
ответь же мне! Скорее!

Гонвил

Вот беспечный!
Ведь до того, как друга отравлять,
мне нужно взвесить кое-что, – не правда ль?

Эдмонд

Но мы ведь выше дружбы – и одно
с тобою чтим: стремленье голой мысли…
А! Просветлел… Ну что же?

Гонвил

Хорошо,
согласен я, согласен… Но поставлю
условие: ты должен будешь выпить
вот здесь, при мне. Хочу я росчерк смерти
заметить на твоем лице. Сам знаешь,
каков твой друг: он, как пытливый Плиний,
смотреть бы мог в разорванную язву
Везувия, пока бы, вытекая,
гной огненный шипел и наступал…

Эдмонд

Изволь… Но только…

Гонвил

Или ты боишься,
что свяжут смерть твою со смертью… Стеллы?

Эдмонд

Нет, – о тебе я думал. Вот что! Дай мне
чернил, бумаги. Проще будет.

(Пишет.)

Слышишь,
перо скрипит, как будто по листу
гуляет смерть костлявая…

Гонвил

Однако!
Ты весел…

Эдмонд

Да… Ведь я свою свободу
подписываю… Вот… Я кончил. Гонвил,
прочти.

Гонвил
(читает про себя)

«Я умираю – яд – сам взял –
сам выпил…» Так.

Эдмонд

Теперь давай; готов я…

Гонвил

Не вправе я удерживать тебя.
Вот – пузырек. Он налит зноем сизым,
как утро флорентийское… Тут старый
и верный яд. В четырнадцатом веке
его совали герцогам горячим
и пухлым старцам в бархате лиловом.
Ложись сюда. Так. Вытянись. Он сладок
и действует мгновенно, как любовь.

Эдмонд

Спасибо, друг мой… Жил я тихо, просто,

а вот не вынес страха бытия…
Спасаюсь я в неведомую область.
Давай же мне; скорей…

Гонвил

Эдмонд, послушай, –
быть может, есть какая-нибудь тайна,
которую желал бы ты до смерти…

Эдмонд

Я тороплюсь… Не мучь меня…

Гонвил

Так пей же!

Эдмонд

Прощай. Потом – плащом меня накроешь.

Действие второе

Та же комната. Прошло всего несколько мгновений.

Эдмонд

Смерть… Это – смерть. Вот это – смерть…

(Медленно привстает.)

В тумане
дрожит пятно румяное… Иначе
быть не могло… О чем же я при жизни
тревожился? Пятно теперь яснее.
Ах! Это ведь пылающий провал
камина… Да, – и отблески летают.
А там в углу – в громадном смутном кресле, –
кто там сидит, чуть тронутый мерцаньем?
Тяжелый очерк выпуклого лба;
торчащая щетина брови; узел
змеиных жил на каменном виске…
Да полно! Узнаю! Ведь это…

Человек в кресле

…Эхо

твоих предсмертных мыслей…

Эдмонд

Гонвил, Гонвил, –
но как же так? Как можешь ты быть здесь, –
со мною, в смерти? Как же так?..

Гонвил

Мой образ
продлен твоею памятью за грань
земного. Вот и все.

Эдмонд

Но как же, Гонвил:
вот комната… Все знаю в ней… Вон – череп
на фолианте, вон – змея в спирту,
вон – скарабеи в ящике стеклянном,
вон – брызги звезд в окне, – а за окном, –
чу! слышишь, – бьют над городом зубчатым
далекие и близкие куранты;
скликаются, – и падает на дно
зеркальное червонец за червонцем…
Знакомый звон… И сам я прежний, прежний, –
порою только странные туманы
проходят пред глазами… Но я вижу
свои худые руки, плащ и сборки
на нем, – и даже вот – дыру: в калитку
я проходил, – плащом задел цветок
чугунный на стебле решетки… Странно, –
все то же, то же…

Гонвил

Мнимое стремленье,
Эдмонд… Колеблющийся отзвук…

Эдмонд

Так!
Я начинаю понимать… Постой же,
постой, я сам…

Гонвил

…Жизнь – это всадник. Мчится.
Привык он к быстроте свистящей. Вдруг

дорога обрывается. Он с края
проскакивает в пустоту. Ты слушай,
внимательно ты слушай! Он – в пространстве,
над пропастью, – но нет еще паденья,
нет пропасти! Еще стремленье длится,
несет его, обманывает; ноги
еще в тугие давят стремена,
глаза перед собою видят небо
знакомое, – хоть он один в пространстве,
хоть срезан путь… Вот этот миг, – пойми,
вот этот миг. Он следует за гранью
конечною земного бытия:
скакала жизнь, в лицо хлестала грива,
дул ветер в душу – но дорога в бездну
оборвалась, – и чем богаче жизнь,
чем конь сильней…

Эдмонд

…тем явственней, тем дольше
свист в пустоте, свист и размах стремленья,
не прерванного роковым обрывом, –
да, понял я… Но – пропасть, как же пропасть?

Гонвил

Паденье неизбежно. Ты внезапно
почувствуешь под сердцем пустоту
сосущую, и, завертевшись, рухнет
твой мнимый мир. Успей же насладиться
тем, что унес с собою за черту.
Все, что знавал, что помнишь из земного, –
вокруг тебя и движется земными
законами, знакомыми тебе.
Ведь ты слыхал, что раненый, очнувшись,
оторванную руку ощущает
и пальцами незримыми шевелит?
Так мысль твоя еще живет, стремится, –
хоть ты и мертв: лежишь, плащом покрытый;
сюда вошли; толпятся и вздыхают;
и мертвецу подвязывают челюсть…
А может быть, и больший срок прошел:
ведь ты теперь вне времени… Быть может,
на кладбище твой Гонвил смотрит молча
на плоский камень с именем твоим.
Ты там, под ним, в земле живой и сочной;
уста гниют, и лопаются мышцы,
и в трещинах, в глубокой черной слизи
шуршат, кишат белесые личинки…

Не все ль равно? Твое воображенье,
поддержанное памятью, привычкой,
еще творит. Цени же этот миг,
благодари стремительность разбега…

Эдмонд

Да, мне легко… Покойно мне. Теперь
хоть что-нибудь я знаю точно, – знаю,
что нет меня. Скажи, мое виденье,
а если я из комнаты твоей –
стой! сам скажу: куранты мне напели:
все будет то же, встречу я людей,
запомнившихся мне. Увижу те же
кирпичные домишки, переулки,
на площади – субботние лотки
и циферблат на ратуше. Узнаю
лепные, величавые ворота;
в просвете – двор широкий, разделенный
квадратами газона; посередке
фонтан журчащий в каменной оправе
и на стенах пергаментных кругом
узорный плющ; а дальше – снова арка,
и в небе стрелы серого собора,
и крокусы вдоль ильмовых аллей,
и выпуклые мостики над узкой
земною речонкой, – все узнаю, –
а на местах, мной виденных не часто
иль вовсе не замеченных, – туманы,
пробелы будут, как на старых картах,
где там и сям стоит пометка: Terra
incognita. Скажи мне, а умерших
могу я видеть?

Гонвил

Нет. Ты только можешь
соображать, сопоставлять явленья
обычные, понятные, земные, –
ведь призраков ты не встречал при жизни…
Скажи, кого ты вызвать бы хотел?

Эдмонд

Не знаю…

Гонвил

Нет, подумай…

Эдмонд

Гонвил, Гонвил,
я что-то вспоминаю… что-то было
мучительное, смутное… Постой же,
начну я осторожно, потихоньку, –
я дома был, – друзья ко мне явились,
к дубовому струился потолку
из трубок дым, вращающийся плавно.
Все мелочи мне помнятся: вино
испанское тепло и мутно рдело.
Постой… Один описывал со вкусом,
как давеча он ловко ударял
ладонью мяч об каменные стенки;
другой втыкал сухие замечанья
о книгах, им прочитанных, о цифрах
заученных – но желчно замолчал,
когда вошел мой третий гость – красавец
хромой, – ведя ручного медвежонка
московского, – и цепью зверь ни разу
не громыхнул, пока его хозяин,
на стол поставив локти и к прозрачным
вискам прижав манжеты кружевные,
выплакивал стихи о кипарисах.
Постой… Что было после? Да, вбежал
еще один – толстяк в веснушках рыжих –
и сообщил мне на ухо с ужимкой
таинственной… Да, вспомнил все! Я несся,
как тень, как сон, по переулкам лунным
сюда, к тебе… Исчезла… как же так?..
…она всегда ходила в темном. Стелла…
…мерцающее имя в темном вихре,
души моей бессонница…

Гонвил

Друг друга
любили вы?..

Эдмонд

Не знаю, было ль это
любовью или бурей шумных крыльев…
Я звездное безумие свое,
как страшного пронзительного бога
от иноверцев, от тебя – скрывал.
Когда порой в тиши амфитеатра
ты взмахивал крылатым рукавом,

чертя скелет на грифеле скрипучем,
и я глядел на голову твою,
тяжелую, огромную, как ноша
Атланта, – странно было думать мне,
что ты мою бушующую тайну
не можешь знать… Я умер – и с собою
унес ее. Ты так и не узнал…

Гонвил

Как началось?..

Эдмонд

Не знаю. Каждый вечер
я приходил к тебе. Курил, и слушал,
и ждал, томясь, – и Стелла проплывала
по комнате и снова возвращалась
к себе наверх по лестнице витой,
а изредка садилась в угол с книгой,
и призрачная пристальность была
в ее молчанье. Ты же, у камина
проникновенно пальцами хрустя,
доказывал мне что-нибудь, – Systema
Naturae сухо осуждал… Я слушал.
Она в углу читала, и, когда
страницу поворачивала, в сердце
моем взлетала молния… А после,
придя домой, – пред зеркалом туманным
я длительно глядел себе в глаза,
отыскивал запечатленный образ…
Затем свечу, шатаясь, задувал,
и до утра мерещилось мне в бурях
серебряных и черных сновидений
ее лицо склоненное, и веки
тяжелые, и волосы ее,
глубокие и гладкие, как тени
в ночь лунную; пробор их разделял,
как бледный луч, и брови вверх стремились
к двум облачкам, скрывающим виски…
Ты, Гонвил, управлял моею мыслью,
отчетливо и холодно. Она же
мне душу захлестнула длинным светом
и ужасом немыслимым… Скажи мне,
смотрел ли ты порою, долго, долго,
на небеса полночные? Не правда ль,
нет ничего страшнее звезд?

Гонвил

Возможно.
Но продолжай. О чем вы говорили?

Эдмонд

Мы говорили мало… Я боялся
с ней говорить. Был у нее певучий
и странный голос. Английские звуки
в ее устах ослабевали зыбко.
Слова слепые плыли между нами,
как корабли в тумане… И тревога
во мне росла. Душа моя томилась:
там бездны раскрывались, как глаза…
Невыносимо сладостно и страшно
мне было с ней, и Стелла это знала.
Как объясню мой ужас и виденья?
Я слышал гул бесчисленных миров
в ее случайных шелестах. Я чуял
в ее словах дыханье смутных тайн,
и крики, и заломленные руки
неведомых богов! Да, – шумно, шумно
здесь было, Гонвил, в комнате твоей,
хоть ты и слышал, как скребется мышь
за шкафом и как маятник блестящий
мгновенья костит… Знаешь ли, когда
я выходил отсюда, ощущал я
внезапное пустынное молчанье,
как после оглушительного вихря!..

Гонвил

Поторопи свое воспоминанье,
Эдмонд. Кто знает, может быть, сейчас
стремленье жизни мнимое прервется, –
исчезнешь ты, и я – твой сон – с тобою.
Поторопись. Случайное откинь,
сладчайшее припомни. Как признался?
Чем кончилось признанье?

Эдмонд

Это было
здесь, у окна. Мне помнится, ты вышел
из комнаты. Я раму расшатал,
и стекла в ночь со вздохом повернули.
Все небо было звездами омыто,
и в каменном туманном переулке,
рыдая, поднималась тишина.

И в медленном томленье я почуял,
что кто-то встал за мною. Наполнялась
душа волнами шума, голосами
растущими. Я обернулся. Близко
стояла Стелла. Дико и воздушно
ее глаза в мои глядели, – нет,
не ведаю – глаза ли это были
иль вечность обнаженная… Окно
за нами стукнуло, как бы от ветра…
Казалось мне, что, стоя друг пред другом,
громадные расправили мы крылья,
и вот концы серпчатых крыльев наших, –
пылающие длинные концы –
сошлись на миг… Ты понимаешь, – сразу
отхлынул мир; мы поднялись; дышали
в невероятном небе, – но внезапно
она одним движеньем темных век
пресекла наш полет, – прошла. Открылась
дверь дальняя, мгновенным светом брызнув;
закрылась… И стоял я весь в дрожанье
разорванного неба, весь звенящий,
звенящий…

Гонвил

Так ли? Это все, что было,
один лишь взгляд?

Эдмонд

Когда бы он продлился,
душа бы задохнулась. Да, мой друг, –
один лишь взгляд. С тех пор мы не видались.
Ты помнишь ведь – я выбежал из дома,
ты из окна мне что-то крикнул вслед.
До полночи по городу я бредил,
со звездами нагими говорил…
Все отошло. Не выдержал я жизни,
и вот теперь…

Гонвил

Довольно!

Эдмонд

Я за гранью
теперь – и все, что вижу…

Гонвил

Я сказал:
довольно!

Эдмонд

Гонвил, что с тобой?..

Гонвил

Я долго
тебя морочил – вот и надоело…
Да, впрочем, ты с ума сошел бы, если
я продолжал бы так шутить… Не яду
ты выпил – это был раствор безвредный:
он, правда, вызывает слабость, смутность,
колеблет он чувствительные нити,
из мозга исходящие к глазам, –
но он безвреден… Вижу, ты смеешься?
Ну что ж, я рад, что опыт мой тебе
понравился…

Эдмонд

Ах, милый Гонвил, – как же
мне не смеяться? Посуди! Ведь это
я сам сейчас придумываю, сам!
Играет мысль моя и ткет свободно
цветной узор из жизненных явлений,
из случаев нежданных – но возможных,
возможных, Гонвил!

Гонвил

Это бред… Очнись!
Не думал я… Как женщина, поддался…
Поверь, – ты так же жив, как я, и вдвое
живуче…

Эдмонд

Так! Не может быть иначе!
В смерть пролетя, моя живая мысль
себе найти старается опору, –
земное объясненье… Дальше, дальше,
я слушаю…

Гонвил

Очнись! Мне нужно было,
чтоб спотыкнулся ты; весь ум, всю волю
я приложил… Сперва не удавалось, –
уж мыслил я: «В Милане мой учитель
выкалывал глаза летучей мыши –
затем пускал – и все же при полете
она не задевала тонких нитей,
протянутых чрез комнату: быть может,
и он мои минует нити». Нет!
Попался ты, запутался!..

Эдмонд

Я знаю,
я знаю все, что скажешь! Оправдать,
унизить чудо – мысль моя решила.
Но подожди… в чем цель была обмана?
А, понял! Испытующая ревность
таилась под личиной ледяной…
Нет, – погляди, как выдумка искусна!
Напиток тот был ядом в самом деле,
и я в гробу, и все кругом – виденье, –
но мысль моя лепечет, убеждает:
нет, нет, – раствор безвредный! Он был нужен,
чтоб тайну ты свою открыл. Ты жив,
и яд – обман, и смерть – обман, и даже…

Гонвил

А если я скажу тебе, что Стелла
не умерла?

Эдмонд

Да! Вот она – ступень
начальная… Ударом лжи холодной
ты вырвать мнил всю правду у любви.
Подослан был тот, рыжий, твой приятель,
ты мне внушил – сперва чужую смерть,
потом – мою, – чтоб я проговорился.
Так, кончено: подробно восстановлен
из сложных вероятностей, из хитрых
догадок, из обратных допущений
знакомый мир… Довольно, не трудись, –
ведь все равно ты доказать не можешь,
что я не мертв и что мой собеседник
не призрак. Знай, – пока в пустом пространстве
еще стремится всадник, – вызываю

возможные виденья. На могилу
слетает цвет с тенистого каштана.
Под муравой лежу я, ребра вздув,
но мысль моя, мой яркий сон загробный,
еще живет, и дышит, и творит.
Постой, – куда же ты?

Гонвил

А вот сейчас
увидишь…

(Открывает дверь на лестницу и зовет.)

Стелла!..

Эдмонд

Нет… не надо… слушай…
мне почему-то… страшно… Не зови!
Не смей! Я не хочу!..

Гонвил

Пусти, – рукав
порвешь… Вот сумасшедший, право…

(Зовет.)

Стелла!..
А, слышишь: вниз по лестнице легко
шуршит, спешит…

Эдмонд

Дверь, дверь закрой! Прошу я!
Ах, не впускай. Дай продумать… Страшно…
Повремени, не прерывай полета, –
ведь это есть конец… паденье…

Гонвил

Стелла!
Иди же…

Занавес

Дедушка
Драма в одном действии

Действие происходит в 1816 году во Франции, в доме зажиточной крестьянской семьи. Просторная комната, окнами в сад. Косой дождь. Входят ***хозяева*** *и* ***незнакомец****.*

Жена

…Пожалуйте. Тут наша
гостиная…

Муж

Сейчас мы вам вина
дадим.

(К дочке.)

Джульетта, сбегай в погреб, – живо!

Прохожий
(озирается)

Ах, как у вас приятно…

Муж

Вы садитесь, –
сюда…

Прохожий

Свет… Чистота… Резной баул
в углу, часы стенные с васильками
на циферблате…

Жена

Вы не вымокли?

Прохожий

Нисколько!
Успел под крышу заскочить… Вот ливень
так ливень! Вас я не стесняю? Можно
здесь переждать? Как только перестанет…

Муж

Мы рады, рады…

Жена

Вы из наших мест?

Прохожий

Нет – странник я… Недавно лишь вернулся
на родину. Живу у брата, в замке
де Мэриваль… Недалеко отсюда…

Муж

А, знаем, знаем…

(К дочке, вошедшей с вином.)

Ставь сюда, Джульетта.
Так. Пейте, сударь. Солнце, – не вино!

Прохожий
(чокается)

За ваше… Эх, душистое какое!
И дочь у вас – хорошая… Джульетта,
душа, где твой Ромео?

Жена
(смеется)

Что такое –
«Ромео»?

Прохожий

Так… Она сама узнает
когда-нибудь…

Джульетта

Вы дедушку видали?

Прохожий

Нет, не видал.

Джульетта

Он – добрый…

Муж
(к жене)

Где он, кстати?

Жена

Спит у себя – и чмокает во сне,
как малое дитя…

Прохожий

Он очень стар –
ваш дедушка?

Муж

Лет семьдесят, пожалуй…
Не знаем мы…

Жена

Ведь он нам не родня:
мы дедушкой его прозвали сами.

Джульетта

Он – ласковый…

Прохожий

Но кто же он?

Муж

Да то-то
оно и есть, что мы не знаем… Как-то,
минувшею весною, появился
в деревне старец, – видно, издалека.
Он имени не помнил своего,
на все вопросы робко улыбался…
Его сюда Джульетта привела.
Мы накормили, напоили старца;
он ворковал, облизывался, жмурясь,
мне руку мял с блаженною ужимкой, –
а толку никакого: видно, разум

в нем облысел… Его мы у себя
оставили, – Джульетта упросила…
И то сказать: он неженка, сластена…
Недешево обходится он нам.

Жена

Не надо, муж, – он – старенький…

Муж

Да что же, –
я ничего… так – к слову… Пейте, сударь!

Прохожий

Спасибо, пью; спасибо… Впрочем, скоро
домой пора… Вот дождь… Земля-то ваша
задышит!

Муж

Слава Богу! Только это
одна игра – не дождь. Глядите, солнце
уж сквозь него проблескивает… эх!..

Прохожий

Дым золотой… Как славно!

Муж

Вот вы, сударь,
любуетесь, – а нам-то каково?
Ведь мы – земля. Все думы наши – думы
самой земли… Мы чувствуем, не глядя,
как набухает семя в борозде,
как тяжелеет плод… Когда от зноя
земля горит и трескается, – так же
у нас ладони трескаются, сударь!
А дождь пойдет – мы слушаем тревожно –
и молим про себя: «Шум, свежий шум,
не перейди в постукиванье града!..»
И если этот прыгающий стук
об наши подоконники раздастся, –
тогда, тогда мы затыкаем уши,
лицо в подушки прячем, – словно трусы
при перестрелке дальней! Да – немало
у нас тревог… Недавно вот, – на груше

червь завелся – большущий, в бородавках,
зеленый черт! А то – холодной сыпью
тля облепит молоденькую ветвь…
Вот и крутись!

Прохожий

Зато какая гордость
для вас, какая радость, – получать
румяное, душистое спасибо
деревьев ваших!

Жена

Дедушка – вот тоже –
прилежно ждет каких-то откровений,
прикладывая ухо то к коре,
то к лепестку… Мне кажется, – он верит,
что души мертвых в лилиях, в черешнях
потом живут.

Прохожий

Не прочь я был бы с ним
потолковать… люблю я этих нежных
юродивых…

Жена

Как погляжу на вас –
мне ваших лет не высчитать. Как будто
не молоды, а вместе с тем… не знаю…

Прохожий

А ну прикиньте, угадайте.

Муж

Мирно
вы прожили, должно быть. Ни морщинки
на вашем лбу…

Прохожий

Какое – мирно!

(Смеется.)

Если б
все записать… Подчас я сам не верю
в свое былое! От него пьянею,
как вот – от вашего вина. Я пил
из чаши жизни залпами такими,
такими… Ну и смерть порой толкала
под локоть… Вот, – хотите вы послушать
рассказ о том, как летом, в девяносто
втором году, в Лионе, господин
де Мэриваль – аристократ, изменник,
и прочее, и прочее – спасен был
у самой гильотины?

Жена

Расскажите,
мы слушаем…

Прохожий

Мне было двадцать лет
в тот буйный год. Громами Трибунала
я к смерти был приговорен – за то ли,
что пудрил волосы, иль за приставку
пред именем моим, – не знаю: мало ль
за что тогда казнили… В тот же вечер
на эшафот я должен был явиться, –
при факелах… Палач был, кстати, ловкий,
старательный: художник, – не палач.
Он своему парижскому кузену
все подражал – великому Самсону:
такую же тележку он завел
и головы отхваченные – так же
раскачивал, за волосы подняв…
Вот он меня повез. Уже стемнело,
вдоль черных улиц зажигались окна
и фонари. Спиною к ветру сидя
в тележке тряской и держась за грядки
застывшими руками, думал я, –
о чем? – да все о пустяках каких-то, –
о том, что вот – платка не взял с собою,
о том, что спутник мой – палач – похож
на лекаря почтенного… Недолго
мы ехали. Последний поворот –
и распахнулась площадь, посредине
зловеще озаренная… И вот,
когда палач с какой-то виноватой
учтивостью помог мне слезть с тележки –
и понял я, что кончен, кончен путь,

тогда-то страх схватил меня под горло…

И сумрачное уханье толпы, –
глумящейся, быть может (я не слышал), –
движенье конских крупов, копья, ветер,
чад факелов пылающих – все это,
как сон, прошло, и я одно лишь видел,
одно: там, там, высоко в черном небе,
стальным крылом косой тяжелый нож
меж двух столбов висел, упасть готовый,
и лезвие, летучий блеск ловя,
уже как будто вспыхивало кровью!

И на помост, под гул толпы далекой,
я стал всходить – и каждая ступень
по-разному скрипела. Молча сняли
с меня камзол, и ворот до лопаток
разрезали… Доска была – что мост
взведенный: к ней – я знал – меня привяжут,
опустят мост, со стуком вниз качнусь,
между столбов ошейник деревянный
меня захлопнет, – и тогда, тогда-то
смерть, с грохотом мгновенным, ухнет сверху!

И вот не мог я проглотить слюну,
предчувствием ломило мне затылок,
в висках гремело, разрывалась грудь
от трепета и топота тугого, –
но, кажется, я с виду был спокоен…

Жена

О, я кричала бы, рвалась бы, – криком
пощады я добилась бы… Но как же,
но как же вы спаслись?..

Прохожий

Случилось чудо…
Стоял я, значит, на помосте. Рук
еще мне не закручивали. Ветер
мне плечи леденил… Палач веревку
какую-то распутывал. Вдруг – крик:
«Пожар!» – и в тот же миг всплеснуло пламя
из-за перил, и в тот же миг шатались
мы с палачом, боролись на краю

площадки… Треск, – в лицо пахнуло жаром,
рука, меня хватавшая, разжалась, –
куда-то падал я, кого-то сшиб,
нырнул, скользнул в потоки дыма, в бурю
дыбящихся коней, людей бегущих…
«Пожар! пожар!» – все тот же бился крик,
захлебывающийся и блаженный!
А я уже был далеко! Лишь раз
я оглянулся на бегу и видел –
как в черный свод клубился дым багровый,
как запылали самые столбы
и рухнул нож, огнем освобожденный!

Жена

Вот ужасы!..

Муж

Да! Тот, кто смерть увидел,
уж не забудет… Помню, как-то воры
в сад забрались. Ночь, темень, жутко… Снял я
ружье с крюка…

Прохожий
(задумчиво перебивает)

Так спасся я – и сразу
как бы прозрел: я прежде был рассеян,
и угловат, и равнодушен… Жизни,
цветных пылинок жизни нашей милой
я не ценил – но, увидав так близко
те два столба, те узкие ворота
в небытие, те отблески, тот сумрак…
И Францию под свист морского ветра
покинул я, и Франции чуждался,
пока над ней холодный Робеспьер
зеленоватым призраком маячил, –
пока в огонь шли пыльные полки
за серый взгляд и челку Корсиканца…
Но нелегко жилось мне на чужбине:
я в Лондоне угрюмом и сыром
преподавал науку поединка.
В России жил, играл на скрипке в доме
у варвара роскошного… Затем
по Турции, по Греции скитался.
В Италии прекрасной голодал.
Видов видал немало. Был матросом,
был поваром, цирюльником, портным –

и попросту – бродягой… Все же ныне
благодарю я Бога ежечасно
за трудности, изведанные мной, –
за шорохи колосьев придорожных,
за шорохи и теплое дыханье
всех душ людских, прошедших близ меня…

Муж

Всех, сударь, всех? Но вы забыли душу
того лихого мастера, с которым
вы встретились, тогда – на эшафоте…

Прохожий

Нет, не забыл. Через него-то мир
открылся мне. Он был ключом – невольно…

Муж

Нет, не пойму…

(Встает.)

До ужина работу
мне кончить надо… Ужин наш – нехитрый…
Но, может быть…

Прохожий

Что ж – я не прочь…

Муж

Вот ладно!

(Уходит.)

Прохожий

Простите болтуна… Боюсь – докучен
был мой рассказ…

Жена

Да что вы, сударь, что вы…

Прохожий

Никак вы детский чепчик шьете?..

Жена
(смеется)

Да.
Он к Рождеству, пожалуй, пригодится…

Прохожий

Как хорошо…

Жена

А вот другой младенец…
вон там, в саду…

Прохожий
(смотрит в окно)

А, дедушка… Прекрасный
старик… Весь серебрится он на солнце.
Прекрасный… И мечтательное что-то
в его движеньях есть. Он пропускает
сквозь пальцы стебель лилии – нагнувшись
над цветником, – лишь гладит, не срывает,
и нежною застенчивой улыбкой
весь озарен…

Жена

Да, лилии он любит, –
ласкает их и с ними говорит.
Для них он даже имена придумал, –
каких-то все маркизов, герцогинь…

Прохожий

Как хорошо… Вот он-то, верно, мирно
свой прожил век, – да, где-нибудь в деревне,
вдали от бурь гражданских и иных…

Жена

Он врачевать умеет… Знает травы
целебные. Однажды дочку нашу…

*Врывается **Джульетта** с громким хохотом.*

Джульетта

Ах, мама, вот умора!..

Жена

Что такое?

Джульетта

Там… дедушка… корзинка… Ах!..

(Смеется.)

Жена

Да толком
ты расскажи…

Джульетта

Умора!.. Понимаешь,
я, мама, шла – вот только что, – шла садом
за вишнями, – а дедушка увидел,
весь съежился – и хвать мою корзинку –
ту, новую, обитую клеенкой
и уж запачканную соком, – хвать! –
и как швырнет ее – да прямо в речку, –
ее теперь теченьем унесло.

Прохожий

Вот странно-то… Бог весть мосты какие
в его мозгу раскидывает мысль…
Быть может… Нет…

(Смеется.)

Я сам порою склонен
к сопоставленьям странным… Так – корзинка,
обитая клеенкой, покрасневшей
от ягод, мне напоминает… Тьфу!
Какие бредни жуткие! Позвольте
не досказать…

Жена
(не слушая)

Да что он, право… Папа

рассердится. Ведь двадцать су – корзина.

(Уходит с дочкой.)

Прохожий
(смотрит в окно)

Ведут, ведут… Как дуется старик
забавно… Впрямь – обиженный ребенок…

Возвращаются с ***дедушкой****.*

Жена

Тут, дедушка, есть гость у нас… Смотри
какой…

Дедушка

Я не хочу корзинки той. Не надо
таких корзинок…

Жена

Полно, полно, милый…
Ее ведь нет. Она ушла. Совсем.
Ну успокойся… Сударь, вы его
поразвлеките… Нужно нам идти
готовить ужин…

Дедушка

Это кто такой?
Я не хочу…

Жена
(в дверях)

Да это – гость наш. Добрый.
Садись, садись. А он какие сказки
нам рассказал, – о палаче в Лионе,
о казни, о пожаре!.. Ай, занятно.
Вы, сударь, – повторите.

(Уходит с дочкой.)

Дедушка

Что такое?

Что, что она сказала? Это странно…
Палач, пожар…

Прохожий
(в сторону)

Ну вот, перепугался…
Эх, глупая, зачем сказала, право…

(Громко.)

Я, дедушка, шутил… Ответь мне лучше –
о чем беседуешь в саду – с цветами,
с деревьями? Да что же ты так смотришь?

Дедушка
(пристально)

Откуда ты?

Прохожий

Я – так, – гулял…

Дедушка

Постой,
постой, останься тут, сейчас вернусь я.

(Уходит.)

Прохожий
(ходит по комнате)

Какой чудак! Не то он всполошился,
не то он что-то вспомнил… Неприятно
и смутно стало мне, – не понимаю…
Вино тут, видно, крепкое…

(Напевает.)

Тра-рам,
тра-ра… Да что со мною? Словно –
какое-то томленье… Фу, как глупо…

Дедушка
(входит)

А вот и я… Вернулся.

Прохожий

Здравствуй, здравствуй…

(В сторону.)

Э, он совсем веселенький теперь!

Дедушка
(переступает с ноги на ногу, заложив руки за спину)

Я здесь живу. Вот в этом доме. Здесь
мне нравится. Вот – например – смотри-ка, –
какой тут шкаф…

Прохожий

Хороший…

Дедушка

Это, знаешь, –
волшебный шкаф. Что делается в нем,
что делается!.. В скважинку, в замочек
взгляни-ка… а?

Прохожий

Волшебный? Верю, верю…
Ай, шкаф какой!.. Но ты мне не сказал –
про лилии: о чем толкуешь с ними?

Дедушка

Ты – в скважинку…

Прохожий

Я вижу и отсюда…

Дедушка

Нет, – погляди вплотную…

Прохожий

Да нельзя же, –
стол – перед шкафом, стол…

Дедушка

Ты… ляг на стол,
ляг… животом…

Прохожий

Ну право же, – не стоит.

Дедушка

Не хочешь ты?

Прохожий

Смотри, – какое солнце!
И весь твой сад блестит, блестит…

Дедушка

Не хочешь?
Жаль… Очень жаль. Там было бы, пожалуй,
удобнее…

Прохожий

Удобней? Для чего же?

Дедушка

Как – для чего?..

(Взмахивает топором, который держал за спиною.)

Прохожий

Брось! Тише!

(Борются.)

Дедушка

Нет… Стой… Не надо
мешать мне… Так приказано… Я должен…

Прохожий
(сшибает его)

Довольно!
Вот оно – безумье!.. Ох…
Не ожидал я… Мямлил да мурлыкал –
и вдруг…
Но что я? Словно – это раз
уж было… или же приснилось? Так же,
вот так же я боролся… Встань! Довольно!
Встань… Отвечай… Как смотрит он, как смотрит!
А эти пальцы – голые, тупые…
Ведь я уже их… видел! Ты ответишь,
добьюсь я! Ах, как смотрит…

(Наклоняется над лежащим.)

Нет… не скажет…

Джульетта
(в дверях)

Что сделали вы с дедушкой…

Прохожий

Джульетта…
ты… уходи…

Джульетта

Что сделали вы…

Занавес

Агасфер
Драматический монолог, написанный в виде пролога для инсценированной симфонии

Пролог

(Голос в темноте)

Все, все века, прозрачные, лепные
тобой, любовь, снутри озарены, –
как разноцветные амфоры… Сны
меня томят, апокрифы земные…
Века, века… Я в каждом узнаю
одну черту моей любви. Я буду
и вечно был: душа моя в Иуду
врывается, и – небо продаю
за грешницу… Века плывут. Повсюду
я странствую: как Черный Паладин,
с Востока еду в золотистом дыме…
Века плывут, и я меняюсь с ними:
Флоренции я страстный властелин,
и весь я – пламя, роскошь и отвага!..
Но вот мой путь ломается, как шпага:
я – еретик презренный… Я – Марат,
в июльский день тоскующий… Бродяга –
я, Байрон, – средь невидимых дриад
в журчащей роще, – что лепечет влага?
Не знаю, – прохожу… Ловлю тебя,
тебя, Мария, сон мой безглагольный,
из века в век!.. По-разному любя,
мы каждому из тех веков невольно
цвет придаем, – цвет, облик и язык,
ему присущие… Тоскуем оба:
во мне ты ищешь звездного огня,
в тебе ищу – земного. У меня –
два спутника: один – Насмешка; Злоба –
другой; и есть еще один Старик –
любви моей бессмертный соглядатай…
А вкруг тебя скользят четой крылатой
два голубиных призрака всегда…
Летит твоя падучая звезда
из века в век, – и нет тебе отрады:
ты – Грешница в евангельском луче;
ты – бледная Принцесса у ограды;
ты – Флорентийка в пламенной парче,

вся ревностью кипящая Киприда!
Ты – пленница священного Мадрида,
в тугих цепях, с ожогом на плече…
Ты – девушка, вошедшая к Марату…
Как помню я последнюю утрату, –
как помню я!.. Гречанкою слепой
являешься – и лунною стопой
летаешь ты по рощице журчащей.
Иду я – раб, тоску свою влачащий…
Века, века… Я в каждом узнаю
одну черту моей любви; для каждой
черты – свой век; и все они мою
тоску таят… Я – дух пустынной жажды,
я – Агасфер. То в звездах, то в пыли
я странствую. Вся летопись земли –
сон обо мне. Я был и вечно буду.
Пускай же хлынут звуки отовсюду!
Встаю, тоскую, крепну… В вышине
моя любовь сейчас наполнит своды!..
О музыка моих скитаний, воды
и возгласы веков, ко мне… ко мне!..

Полюс
Драма в одном действии

…He was a very gallant gentleman[16].
Из записной книжки капитана Скотта

Внутренность палатки. Четыре фигуры: ***Капитан Скэт****, по прозванию Хозяин, и* ***Флэминг*** *полусидят,* ***Кингсли*** *и* ***Джонсон*** *спят, с головой закутавшись. У всех четверых ноги в меховых мешках.*

Флэминг

Двенадцать миль всего, – а надо ждать…
Какая буря!.. Рыщет, рвет… Все пишешь,
Хозяин?

Капитан Скэт
(перелистывая дневник)

Надо же…
Сегодня сорок
четыре дня, как с полюса обратно
идем мы, и сегодня пятый день,
как эта буря держит нас в палатке
без пищи…

Джонсон
(спросонья)

Ох…

Капитан Скэт

Проснулся? Как себя
ты чувствуешь?

Джонсон

Да ничего… Занятно…
Я словно на две части разделен:
одна – я сам – сильна, ясна; другая –
цинга – все хочет спать… Такая соня…

Капитан Скэт

[16] Он был очень храбрым человеком *(англ.)*.

Воды тебе не надо?

Джонсон

Нет, спасибо…
И вот еще: мне как-то в детстве снилось –
запомнилось, – что ноги у меня,
как посмотрел я, превратились в ноги
слона.

(Смеется.)

Теперь мой сон сбылся, пожалуй.
А Кингсли – как?

Капитан Скэт

Плох, кажется… Он бредил,
теперь – затих.

Джонсон

Когда мы все вернемся, –
устроим мы такой, такой обед –
с индейкою, – а главное, с речами,
речами…

Капитан Скэт

Знаем – за индейку сам
сойдешь, когда напьешься хорошенько?
А, Джонсон?..
Спит уже…

Флэминг

Но ты подумай –
двенадцать миль до берега, до бухты,
где ждет, склонив седые мачты набок,
корабль наш… между синих льдин! Так ясно
его я вижу!..

Капитан Скэт

Что же делать, Флэминг…
Не повезло нам. Вот и все…

Флэминг

И только
двенадцать миль!..
Хозяин, – я не знаю –
как думаешь, – когда б утихла буря,
могли бы мы, таща больных на санках,
дойти?..

Капитан Скэт

Едва ли…

Флэминг

Так. А если б… Если б
их не было?

Капитан Скэт

Оставим это… Мало ль,
что можно допустить…
Друг, посмотри-ка,
который час.

Флэминг

Ты прав, Хозяин… Шесть
минут второго…

Капитан Скэт

Что же, мы до ночи
продержимся… Ты понимаешь, Флэминг,
ведь ищут нас, пошли навстречу с моря –
и, может быть, наткнутся… А покамест
давай-ка спать… Так будет легче…

Флэминг

Нет, –
спать не хочу.

Капитан Скэт

Тогда меня разбудишь –
так – через час. Не то могу скользнуть…
скользнуть… ну, понимаешь…

Флэминг

Есть, Хозяин.

(Пауза.)

Все трое спят… Им хорошо… Кому же
я объясню, что крепок я и жаден,
что проглотить я мог бы не двенадцать,
а сотни миль? – так жизнь во мне упорна.
От голода, от ветра ледяного
во мне все силы собрались в одну
горячую тугую точку… Точка
такая может все на свете…

(Пауза.)

Джонсон,
ты что? Помочь?

Джонсон

Я сам – не беспокойся…
Я, Флэминг, выхожу…

Флэминг

Куда же ты?..

Джонсон

Так – поглядеть хочу я, не видать ли
чего-нибудь. Я, может быть, пробуду
довольно долго…

Флэминг

Ты – смотри – в метели
не заблудись…
Ушел… Вот чудо: может
еще ходить, хоть ноги у него
гниют…

(Пауза.)

Какая буря! Вся палатка
дрожит от снегового гула…

Кингсли
(бредит)

Джесси,
моя любовь, – как хорошо… Мы полюс
видали, я привез тебе пингвина.
Ты, Джесси, посмотри, какой он гла…
гла… гладенький… и ковыляет… Джесси,
ты жимолость…

(Смеется.)

Флэминг

Счастливец… Никого-то
нет у меня, о ком бы мог я бредить…
У капитана в Лондоне жена,
сын маленький. У Кингсли – вот – невеста,
почти вдова… У Джонсона – не знаю,
мать, кажется… Вот глупый – вздумал тоже
пойти гулять. Смешной он, право, – Джонсон.
Жизнь для него – смесь подвига и шутки,
не знает он сомнений, и пряма
душа его, как тень столба на ровном
снегу… Счастливец… Я же трус, должно быть;
меня влекла опасность, – но ведь так же
и женщин пропасти влекут. Неладно
я прожил жизнь… Юнгóй был, водолазом;
метал гарпун в неслыханных морях.
О эти годы плаваний, скитаний,
томлений!.. Мало жизнь мне подарила
ночей спокойных, дней благих… И все же…

Кингсли
(бредит)

Поддай! Поддай! Так! Молодец! Скорее!
Бей! Не зевай! По голу!.. Отче наш,
иже еси…

(Бормочет.)

Флэминг

…И все же нестерпимо
жить хочется… Да – гнаться за мячом,
за женщиной, за солнцем, – или проще –
есть, много есть – рвать, рвать сардинок жирных
из золотого масла, из жестянки…
Жить хочется до бешенства, до боли –
жить как-нибудь…

Капитан Скэт

Что, что случилось? Кто там?
Что случилось?..

Флэминг

Ничего, Хозяин.
Спокойно все… Вот только Кингсли бредит…

Капитан Скэт

Ох…
Мне снился сон какой-то, светлый, страшный.
Где Джонсон?

Флэминг

Вышел… Посмотреть хотел он,
не видно ли спасенья.

Капитан Скэт

Как давно?

Флэминг

Минут уж двадцать…

Капитан Скэт

Флэминг! – что ж ты, право,
не надо было выпускать его…
но, впрочем…
Помоги мне встать, скорей,
скорей… Мы выйдем…

Флэминг

Я, Хозяин, думал…

Капитан Скэт

Нет, ты не виноват.
Ух, снегу сколько!

Уходят вместе. Пауза.

Кингсли

(один, бредит)

Ты не толкай – сам знаю – брось – не нужно
меня толкать…

(Приподнимается.)

Хозяин, Флэминг, Джонсон!
Хозяин!..
Никого… А! Понимаю,
втроем ушли. Им, верно, показалось,
что я уж мертв… Оставили меня,
пустились в путь…
Нет! Это шутка! Стойте,
вернитесь же… хочу я вам сказать…
хочу я вам… А! Вот что значит смерть:
стеклянный вход… вода… вода… все ясно…

Пауза. Возвращаются ***Капитан*** *и* ***Флэминг****.*

Капитан Скэт

Вот глупо – не могу ступать.
Спасибо…
Но все равно. Мы Джонсона едва ли
могли б найти… Ты понял, что он сделал?

Флэминг

Конечно… Ослабел, упал; бессильный,
звал, может быть… Все это очень страшно…

(Отходит вглубь палатки.)

Капитан Скэт
(про себя)

Нет, – он не звал. Ему лишь показалось,
что он – больной – мешает остальным, –
и вот ушел… Так это было просто
и доблестно… Мешок мой словно камень –
не натянуть…

Флэминг

Хозяин! Плохо! Кингсли
скончался… Посмотри…

Капитан Скэт

Мой бедный Эрик!
Зачем я взял его с собой? Средь нас
он младший был… Как он заплакал – помнишь, –
когда на полюсе нашли мы флаг
норвежский… Тело можно тут оставить –
не трогай…

(Пауза.)

Флэминг

Мы одни теперь, Хозяин…

Капитан Скэт

Но ненадолго, друг мой, ненадолго…

Флеминг

Пурга смолкает…

Капитан Скэт

Знаешь ли – я думал –
вот, например, – Колумб… Страдал он, верно, –
зато открыл чудеснейшие страны,
а мы страдали, чтоб открыть одни
губительные белые пустыни…
И знаешь, – все-таки так надо…

Флэминг

Что же,
Хозяин, – не попробовать ли нам?
Двенадцать миль – и спасены…

Капитан Скэт

Нет, Флэминг,
встать не могу…

Флэминг

Есть санки…

Капитан Скэт

Не дотащишь –

тяжелый я. Здесь лучше мне. Здесь тихо.
Да и душа тиха – как воскресенье
в шотландском городишке… Только ноги
чуть ноют, – и бывают скучноваты
медлительные воскресенья наши…
Жаль, – шахмат нет. Сыграли бы…

Флэминг

Да, жалко…

Капитан Скэт

Послушай, Флэминг, – ты один отправься…

Флэминг

Тебя оставить здесь? И ты так слаб…
Сам говоришь, что ночь едва ли можешь…

Капитан Скэт

Иди один. Я так хочу.

Флэминг

Но как же…

Капитан Скэт

Я дотяну, я дотяну… Успеешь
прислать за мной, когда достигнешь бухты.
Иди! Быть может, даже по дороге
ты наших встретишь. Я хочу, иди же…
Я требую…

Флэминг

Да, – я пойду, пожалуй…

Капитан Скэт

Иди… Что ты возьмешь с собою?

Флэминг

Санок
не нужно мне – вот только эти лыжи
да палку…

Капитан Скэт

Нет, постой, – другую пару…
Мне кажется, запяточный ремень
на этой слаб…
Прощай… Дай руку… Если –
нет, – все равно…

Флэминг

Эх, компас мой разбит…

Капитан Скэт

Вот мой, бери…

Флэминг

Давай…
Что ж, я готов…
Итак, – прощай, Хозяин, я вернусь
с подмогой завтра к вечеру, не позже…

Капитан Скэт

Прощай.

Флэминг *уходит.*

Да, – он дойдет… Двенадцать миль…
К тому же пурга стихает…

(Пауза.)

Помолиться надо…
Дневник – вот он, смиренный мой и верный
молитвенник… Начну-ка с середины…

(Читает.)

«Пятнадцатое ноября; луна
горит костром; Венера как японский
фонарик…

(Перелистывает.)

Кингсли – молодец. Все будто
играет – крепкий, легкий… Нелады

с собачками: Цыган ослеп, а Рябчик
исчез: в тюленью прорубь, вероятно,
попал…
Сочельник: по небу сегодня
Aurora borealis[17] раздышалась…

(Перелистывает.)

Февраль, восьмое: полюс. Флаг норвежский
торчит над снегом… Нас опередили.
Обидно мне за спутников моих.
Обратно…

(Перелистывает.)

Восемнадцатое марта.
Плутаем. Санки вязнут. Кингсли сдал.
Двадцатое: последнее какао
и порошок мясной… Болеют ноги
у Джонсона. Он очень бодр и ясен.
Мы всё еще с ним говорим о том,
что будем делать после, возвратившись».
Ну что ж… Теперь прибавить остается –
эх, карандаш сломался…
Это лучший
конец, пожалуй…
Господи, готов я.
Вот жизнь моя, как компасная стрелка,
потрепетав, на полюс указала,
и этот полюс – Ты…
На беспредельных
Твоих снегах я лыжный след оставил.
Всё. Это всё.

(Пауза.)

А в парке городском,
там, в Лондоне, с какой-нибудь игрушкой, –
весь солнечный, – и голые коленки…
Потом ему расскажут…

(Пауза.)

Тихо все.
Мне мнится: Флэминг по громадной глади
идет, идет… Передвигая лыжи
так равномерно – раз, два… Исчезает…

[17] Северное сияние *(лат.)*.

А есть уже не хочется… Струится
такая слабость, тишина по телу…

(Пауза.)

И вероятно, это бред… Я слышу…
я слышу… Неужели же возможно?
Нашли, подходят, это наши, наши…
Спокойно, капитан, спокойно… Нет же,
не бред, не ветер. Ясно различаю
скрип по снегу, движенье, снежный шаг.
Спокойно… Надо встать мне… Встретить…
Кто там?

Флэминг
(входит)

Я, Флэминг…

Капитан Скэт

А!.. Пурга угомонилась,
не правда ли?

Флэминг

Да, прояснилось. Тихо…

(Садится.)

Шатер-то наш сплошь светится снаружи –
опорошен…

Капитан Скэт

Есть ножик у тебя?
Мой карандаш сломался. Так. Спасибо.
Мне нужно записать, что ты вернулся.

Флэминг

Добавь, что Джонсон не вернулся.

Капитан Скэт

Это
одно и то же…

(Пауза.)

Флэминг

Наш шатер легко
заметить – так он светится…
Да, кстати –
про Джонсона: наткнулся я на тело
его. Ничком зарылся в снег, откинув
башлык…

Капитан Скэт

Я, к сожаленью, замечаю,
что дольше не могу писать… Послушай,
скажи мне, – отчего ты воротился…

Флэминг

Да я не мог иначе… Он лежал
так хорошо, – так смерть его была
уютна. Я теперь останусь…

Капитан Скэт

Флэминг,
ты помнишь ли, как в детстве мы читали
о приключеньях, о Синдбаде, – помнишь?

Флэминг

Да, помню.

Капитан Скэт

Люди сказки любят – правда?
Вот мы с тобой – одни, в снегах, далеко…
Я думаю, что Англия…

Занавес

Трагедия господина Морна

АКТ I

Сцена I

Комната. Шторы опущены. Пылает камин. В кресле у огня, закутанный в пятнистый плед, дремлет ***Тременс****. Он тяжело просыпается.*

Тременс

Сон, лихорадка, сон; глухие смены
двух часовых, стоящих у ворот
моей бессильной жизни…
На стенах
цветочные узоры образуют
насмешливые лица; не огнем,
а холодом змеиным на меня
шипит камин горящий… Сердце, сердце,
заполыхай! Изыди, змий озноба!..
Бессилен я… Но, сердце, как хотел бы
я передать мой трепетный недуг
столице этой стройной и беспечной,
чтоб площадь Королевская потела,
пылала бы, как вот мое чело;
чтоб холодели улицы босые,
чтоб сотрясались в воздухе свистящем
высокие дома, сады, статуи
на перекрестках, пристани, суда
на судорожной влаге!..

(Зовет.)

Элла!.. Элла!..

Входит ***Элла****, нарядно причесанная, но в халатике.*

Тременс

Портвейна дай и склянку, ту, направо,
с зеленым ярлыком…
Так что же, едешь
плясать?

Элла

(открывает графин)

Да.

Тременс

Твой Клиян там будет?

Элла

Будет.

Тременс

Любовь?

Элла
(садится на ручку кресла)

Не знаю… Странно это все…
Совсем не так, как в песнях… Этой ночью
мне чудилось: я – новый, белый мостик,
сосновый, кажется, в слезах смолы, –
легко так перекинутый над бездной…
И вот я жду. Но – не шагов пугливых,
нет, – жаждал мостик сладко поддаваться,
мучительно хрустеть – под грубым громом
слепых копыт… Ждала – и вот, внезапно,
увидела: ко мне, ко мне, – пылая,
рыдая, – мчится облик Минотавра,
с широкой грудью и с лицом Клияна!
Блаженно поддалась я, – и проснулась…

Тременс

Я понял, Элла… Что же, мне приятно:
то кровь моя воскликнула в тебе, –
кровь жадная…

Элла
(готовит лекарство)

Кап… кап… пять, шесть… кап… семь… Довольно?

Тременс

Да. Одевайся, поезжай… уж время…
Стой, – помешай в камине…

Элла

Угли, угли,
румяные сердечки… Чур – гореть!

(Смотрится в зеркало.)

Я хорошо причесана? А платье
надену газовое, золотое.
Так я пойду…

(Пошла, остановилась.)

Ах, мне Клиян намедни
стихи принес; он так смешно поет
свои стихи! Чуть раздувая ноздри,
прикрыв глаза, – вот так, смотри, ладонью
поглаживая воздух, как собачку…

(Смеясь, уходит.)

Тременс

Кровь жадная… А мать ее была
доверчивая, нежная такая;
да, нежная и цепкая, как цветень,
летящий по ветру – ко мне на грудь…
Прочь, солнечный пушок!.. Спасибо, смерть,
что от меня взяла ты эту нежность:
свободен я, свободен и безумен…
Еще не раз, услужливая смерть,
столкуемся… О, я тебя пошлю
вон в эту ночь, в те огненные окна
над темными сугробами – в дома,
где пляшет, вьется жизнь… Но надо ждать…
Еще не время… надо ждать.

Задремал было. Стук в дверь.

Тременс
(встрепенувшись)

Войдите!..

Слуга

Там, сударь, человек какой-то – темный,
оборванный – вас хочет видеть…

Тременс

Имя?

Слуга

Не говорит.

Тременс

Впусти.

Слуга вышел. В открытую дверь вошел человек, остановился на пороге.

Тременс

Что вам угодно?

Человек
(медленно усмехнувшись)

…И на плечах все тот же пестрый плед.

Тременс
(всматривается)

Позвольте… Муть в глазах… но – узнаю,
но узнаю… Да, точно… Ты, ты? Ганус?

Ганус

Не ожидал? Мой друг, мой вождь, мой Тременс,
не ожидал?..

Тременс

Четыре года, Ганус!..

Ганус

Четыре года? Каменные глыбы –
не годы! Камни, каторга, тоска –
и вот – неописуемое бегство!..
Скажи мне, что – жена моя – Мидия…

Тременс

Жива, жива… Да, узнаю я друга –
все тот же Ганус, легкий, как огонь,

все та же страстность в речи и в движеньях…
Так ты бежал? А что же… остальные?

Ганус

Я вырвался – они еще томятся…
Я, знаешь ли, к тебе, как ветер, – сразу,
еще не побывал я дома… Значит,
ты говоришь, Мидия…

Тременс

Слушай, Ганус,
мне нужно объяснить тебе… Ведь странно,
что главный вождь мятежников… Нет, нет,
не прерывай! Ведь это правда странно,
что смею я на воле быть, когда
я знаю, что страдают в черной ссылке
мои друзья? Ведь я живу, как прежде;
меня молва не именует; я
все тот же вождь извилистый и тайный…
Но, право же, я сделал все, чтоб с вами
гореть в аду: когда вас всех схватили,
я, неподкупный, написал донос
на Тременса… Прошло два дня; на третий
мне был ответ. Какой? А вот послушай:
был, помню, вечер ветреный и тусклый.
Свет зажигать мне было лень. Смеркалось.
Я тут сидел и зыблился вознобе,
как отраженье в проруби. Из школы
еще не возвращалась Элла. Вдруг – стучат,
и входит человек: лица не видно
в потемках, голос – глуховатый, тоже
как бы подернут темнотой… Ты, Ганус,
не слушаешь!..

Ганус

Мой друг, мой добрый друг,
ты мне потом расскажешь. Я взволнован,
я не слежу. Мне хочется забыть,
забыть все это: дым бесед мятежных,
ночные подворотни… Посоветуй,
что делать мне: идти ль сейчас к Мидии
иль подождать? Ах, не сердись! не надо!..
Ты – продолжай…

Тременс

Пойми же, Ганус, должен
я объяснить! Есть вещи поважнее
земной любви…

Ганус

…Так этот незнакомец… –
рассказывай…

Тременс

…Был очень странен. Тихо
он подошел. «Король письмо прочел
и за него благодарит», – сказал он,
перчатку сняв, и, кажется, улыбка
скользнула по туманному лицу.
«Да… – продолжал посланец, театрально
перчаткою похлопывая, – вы –
крамольник умный, а король карает
одних глупцов; отсюда вывод, вызов:
гуляй, магнит, и собирай, магнит,
рассеянные иглы душ мятежных,
а соберешь – подчистим, и опять –
гуляй, блистай, притягивай…» Ты, Ганус,
не слушаешь…

Ганус

Напротив, друг, напротив…
Что было дальше?

Тременс

Ничего. Он вышел,
спокойно поклонившись… Долго я
глядел на дверь. С тех пор бешусь я в страстном
бездействии… С тех пор я жду; упорно
жду промаха от напряженной власти,
чтоб ринуться… Четыре года жду.
Мне снятся сны громадные… Послушай,
срок близится! Послушай, сталь живая,
пристанешь ли опять ко мне?..

Ганус

Не знаю…
Не думаю… Я, видишь ли… Но, Тременс,
ты не сказал мне про мою Мидию!
Что делает она?..

Тременс

Она? Блудит.

Ганус

Как смеешь, Тременс! Я отвык, признаться,
от твоего кощунственного слога –
и я не допущу…

В дверях незаметно появилась ***Элла****.*

Тременс

В другое время
ты рассмеялся бы… Мой твердый, ясный,
свободный мой помощник – нежен стал,
как девушка стареющая…

Ганус

Тременс,
прости меня, что шутки я не понял,
но ты не знаешь, ты не знаешь… Очень
измучился я… Ветер в камышах
шептал мне про измену. Я молился.
Я подкупал ползучее сомненье
воспоминаньем вынужденным, – самым
крылатым, самым сокровенным, – цвет свой
теряющим при перелете в слово, –
и вдруг теперь…

Элла
(подходя)

Конечно, он шутил!

Тременс

Подслушала?

Элла

Нет. Я давно уж знаю –
ты любишь непонятные словечки,
загадки, вот и все…

Тременс

(к Ганусу)

Ты дочь мою
узнал?

Ганус

Как, неужели это – Элла?
Та девочка, что с книгою всегда
плашмя лежала вот на этой шкуре,
пока мы тут миры испепеляли?..

Элла

И вы пылали громче всех, и так
накурите, бывало, что не люди,
а будто привиденья плещут в сизых
волнах… Но как же это вы вернулись?

Ганус

Двух часовых поленом оглушил
и проплутал полгода… А теперь,
добравшись наконец, – беглец не смеет
войти в свой дом…

Элла

Я там бываю часто.

Ганус

Как хорошо…

Элла

Да, очень я дружна
с женою вашей. Мы в гостиной темной
о вашей горькой доле не однажды
с ней говорили… Правда, иногда
мне было трудно: ведь никто не знает,
что мой отец…

Ганус

Я понимаю…

Элла

Часто,
вся в тихом блеске, плакала она,
как, знаете, Мидия плачет, – молча
и не мигая… Летом мы гуляли
по городским окраинам – там, где вы
гуляли с ней… На днях она гадала,
на месяц глядя сквозь бокал вина…
Я больше вам скажу: как раз сегодня
я на вечер к ней еду, – будут танцы,
поэты…

(Указывает на Тременса.)

Задремал, смотрите…

Ганус

Вечер –
но без меня…

Элла

Без вас?

Ганус

Я – вне закона:
поймают – крышка… Слушайте, записку
я напишу – вы ей передадите,
а я внизу ответа подожду…

Элла
(закружившись)

Придумала! Придумала! Вот славно!
Я, видите ли, в школе театральной
учусь: тут краски у меня, помады
семи цветов… Лицо вам так размажу,
что сам Господь в день Страшного суда
вас не узнает! Что, хотите?

Ганус

Да…
Пожалуй, только…

Элла

Просто я скажу,

что вы актер, знакомый мой, и грима
не стерли – так он был хорош… Довольно!
Не рассуждать! Сюда садитесь, к свету.
Так, хорошо. Вы будете Отелло –
курчавый, старый, темнолицый Мавр.
Я вам еще отцовский дам сюртук
и черные перчатки…

Ганус

Как занятно:
Отелло – в сюртуке!..

Элла

Сидите смирно.

Тременс
(морщась, просыпается)

Ох… Кажется, заснул я… Что вы оба,
с ума сошли?

Элла

Иначе он не может
к жене явиться. Там ведь гости.

Тременс

Странно:
приснилось мне, что душит короля
громадный негр…

Элла

Я думаю, в твой сон
наш разговор случайный просочился,
смешался с мыслями твоими…

Тременс

Ганус,
как полагаешь, скоро ль?.. скоро ль?..

Ганус

Что?..

Элла

Не двигайте губами – пусть король
повременит…

Тременс

Король, король, король!
Им все полно: людские души, воздух, –
и ходит слух, что в тучах на рассвете
играет герб его, а не заря.
Меж тем – никто в лицо его не знает.
Он на монетах – в маске. Говорят,
среди толпы, неузнанный и зоркий,
гуляет он по городу, по рынкам.

Элла

Я видела, как ездит он в сенат
в сопровожденье всадников. Карета
вся синим лаком лоснится. На дверце
корона, а в окошке занавеска
опущена…

Тременс

…И, думаю, внутри
нет никого. Пешком король наш ходит…
А синий блеск и кони вороные
для виду. Он обманщик, наш король!
Его бы…

Ганус

Стойте, Элла, вы мне в глаз
попали краской… Можно говорить?

Элла

Да, можете. Я поищу парик…

Ганус

Скажи мне, Тременс, непонятно мне:
чего ты хочешь? По стране скитаясь,
заметил я, что за четыре года
блистательного мира – после войн
и мятежей – страна окрепла дивно.
И это все свершил один король.

Чего ж ты хочешь? Новых потрясений?
Но почему? Власть короля, живая
и стройная, меня теперь волнует,
как музыка… Мне странно самому, –
но понял я, что бунтовать – преступно.

Тременс
(медленно встает)

Ты как сказал? Ослышался я? Ганус,
ты… каешься, жалеешь и как будто
благодаришь за наказанье!

Ганус

Нет.
Скорбей сердечных, слез моей Мидии
я королю вовеки не прощу.
Но посуди: пока мы выкликали
великие слова – о притесненьях,
о нищете и горестях народных,
за нас уже сам действовал король…

Тременс
(тяжело зашагал по комнате, барабаня на ходу по мебели)

Постой, постой! Ужель ты правда думал,
что вот с таким упорством я работал
на благо выдуманного народа?
Чтоб всякая навозная душа,
какой-нибудь пьянчуга-золотарь,
корявый конюх мог бы наводить
на ноготки себе зеркальный лоск
и пятый палец отгибать жеманно,
когда он стряхивает сопли? Нет,
ошибся ты!..

Элла

Чуть голову направо…
каракуль натяну вам…
Папа,
садись, прошу я… Ведь в глазах рябит.

Тременс

Ошибся ты! Бунты бывали, Ганус…
Уже не раз на площадях времен
сходились – низколобая преступность,

посредственность и пошлость… Их слова
я повторял, но разумел другое, –
и мнилось мне, что сквозь слова тупые
ты чувствуешь мой истинный огонь
и твой огонь ответствует. А ныне
он сузился, огонь твой, он ушел,
в страсть к женщине… Мне очень жаль тебя.

Ганус

Чего ж ты хочешь? Элла, не мешайте
мне говорить…

Тременс

Ты видел при луне
в ночь ветреную тени от развалин?
Вот красота предельная, – и к ней
веду я мир.

Элла

Не возражайте… Смирно!..
Сожмите губы. Черточку одну
высокомерья… Так. Кармином ноздри
снутри – нет, не чихайте! Страсть – в ноздрях.
Они теперь у вас, как у арабских
коней. Вот так. Прошу молчать. К тому же
отец мой совершенно прав.

Тременс

Ты скажешь:
король – высокий чародей. Согласен.
Набухли солнцем житницы тугие,
доступно всем наук великолепье,
труд облегчен игрою сил сокрытых,
и воздух чист в поющих мастерских –
согласен я. Но отчего мы вечно
хотим расти, хотим взбираться в гору,
от единицы к тысяче, когда
наклонный путь – к нулю от единицы –
быстрей и слаще? Жизнь сама пример –
она несется опрометью к праху,
все истребляет на пути своем:
сперва перегрызает пуповину,
потом плоды и птиц рвет на клочки,
и сердце бьет снутри копытом жадным,
пока нам грудь не выбьет… А поэт,

что мысль свою на звуки разбивает?
А девушка, что молит об ударе
мужской любви? Все, Ганус, разрушенье.
И чем быстрей оно, тем слаще, слаще…

Элла

Теперь сюртук, перчатки – и готово!
Отелло, право, я довольна вами…

(Декламирует.)

«Но все же я тебя боюсь. Как смерть,
бываешь страшен ты, когда глазами
вращаешь так. Зачем бы мне бояться, –
не знаю я: вины своей не знаю,
и все же чувствую, что я боюсь…»
А сапоги потерты, да уж ладно…

Ганус

Спасибо, Дездемона…

(Смотрится в зеркало.)

Вот каков я!
Давно, давно… Мидия… маскарад…
огни, духи… скорее, ах, скорее!
Поторопитесь, Элла!

Элла

Едем, едем…

Тременс

Так ты решил мне изменить, мой друг?

Ганус

Не надо, Тременс! Как-нибудь потом
поговорим… Сейчас мне трудно спорить…
Быть может, ты и прав. Прощай же, милый…
Ты понимаешь…

Элла

Я вернусь не поздно…

Тременс

Иди, иди. Клиян давно клянет
тебя, себя и остальное. Ганус,
не забывай…

Ганус

Скорей, скорее, Элла…

Уходят вместе.

Тременс

Так мы одни с тобою, змий озноба?
Ушли они – мой выскользнувший раб
и бедная кружащаяся Элла…
Да, утомленный и простейшей страстью
охваченный, свое призванье Ганус
как будто позабыл… Но почему-то
сдается мне, что скрыта в нем та искра,
та запятая алая заразы,
которая по всей моей стране
распространит пожар и холод чудной,
мучительной болезни: мятежи
смертельные; глухое разрушенье;
блаженство; пустота; небытие.

Занавес

Сцена II

Вечер у Мидии. Гостиная; налево проход в залу. Освещенная ниша направо у высокого окна. Несколько ***гостей****.*

Первый гость

Морн говорит, – хоть сам он не поэт:
«Должно быть так: в мельканье дел дневных,
нежданно, при случайном сочетанье
луча и тени, чувствуешь в себе
божественное счастие зачатья:
схватило и прошло; но знает муза,
что в тихий час, в ночном уединеньи,
забьется стих и с языка слетит
огнем и лепетом…»

Клиян

Мне не случалось
так чувствовать… Я сам творю иначе:
с упорством, с отвращеньем, мокрой тряпкой
обвязываю голову… Быть может,
поэтому и гений я…

Оба проходят.

Иностранец

Кто этот –
похожий на коня?

Второй гость

Поэт Клиян.

Иностранец

Искусный?

Второй гость

Тсс… Он слушает…

Иностранец

А тот –
серебряный, со светлыми глазами, –
что говорит в дверях с хозяйкой дома?

Второй гость

Не знаете? Вы рядом с ним сидели
за ужином – беспечный Дандилио,
седой любитель старины.

Мидия
(к старику)

Так как же?
Ведь это – грех: Морн, Морн и только Морн.
И кровь поет…

Дандилио

Нет на земле греха.
Люби, гори – все нужно, все прекрасно…
Часы огня, часы любви из жизни

выхватывай, как под водою раб
хватает раковины – слепо, жадно:
нет времени расклеить створки, выбрать
больную, с опухолью драгоценной…
Блеснуло, подвернулось, так хватай
горстями что попало, как попало, –
чтоб в самый миг, как лопается сердце,
пятою судорожно оттолкнуться
и вывалить, шатаясь и дыша,
сокровища на солнечную сушу
к ногам Творца, – он разберет, он знает…
Пускай пусты разломанные створки,
зато гудёт все море в перламутре.
А кто искал лишь жемчуг, отстраняя
за раковиной раковину, тот
придет к Творцу, к Хозяину, с пустыми
руками – и окажется в раю
глухонемым…

Иностранец
(подходя)

Мне в детстве часто снился
ваш голос…

Дандилио

Право, никогда не помню,
кому я снился. Но улыбку вашу
я помню. Все хотелось мне спросить вас,
учтивый путешественник: откуда
приехали?

Иностранец

Приехал я из Века
Двадцатого, из северной страны,
зовущейся…

(Шепчет.)

Мидия

Как? Я такой не знаю…

Дандилио

Да что ты! В детских сказках, ты не помнишь?
Виденья… бомбы… церкви… золотые

царевичи… Бунтовщики в плащах…
метели…

Мидия

Но я думала, она
не существует?

Иностранец

Может быть. Я в грезу
вошел, а вы уверены, что я
из грезы вышел… Так и быть, поверю
в столицу вашу. Завтра – сновиденьем
я назову ее…

Мидия

Она прекрасна…

(Отходит.)

Иностранец

Я нахожу в ней призрачное сходство
с моим далеким городом родным, –
то сходство, что бывает между правдой
и вымыслом возвышенным…

Второй гость

Она,
поверьте мне, прекрасней всех столиц.

Слуги разносят кофе и вино.

Иностранец
(с чашкой кофе в руке)

Я поражен ее простором, чистым,
необычайным воздухом ее:
в нем музыка особенно звучит;
дома, мосты и каменные арки,
все очертанья зодческие – в нем
безмерны, легкие, как переход
счастливейшего вздоха в тишину
высокую… Еще я поражен
всегда веселой поступью прохожих;
отсутствием калек; певучим звуком

шагов, копыт; полетами полозьев
по белым площадям… И говорят,
один король все это сделал…

Второй гость

Да,
один король. Ушло и не вернется
былое лихолетье. Наш король –
гигант в бауте, в огненном плаще –
престол взял приступом, – и в тот же год
последняя рассыпалась волна
мятежная. Был заговор раскрыт:
отброшены участники его –
и, между прочим, муж Мидии, только
не следует об этом говорить, –
на прииски далекие, откуда
их никогда не вызовет закон;
участники, я говорю, но главный
мятежник, безымянный вождь, остался
ненайденным… С тех пор в стране покой.
Уродство, скука, кровь – все испарилось.
Ввысь тянутся прозрачные науки,
но, красоту и в прошлом признавая,
король сберег поэзию, волненье
былых веков – коней, и паруса,
и музыку старинную, живую, –
хоть вместе с тем по воздуху блуждают
сквозные электрические птицы…

Дандилио

В былые дни летучие машины
иначе строились: взмахнет, бывало,
под гром блестящего винта, под взрывы
бензина, чайным запахом пахнёт
в пустое небо… Но позвольте, где же
наш собеседник?..

Второй гость

Я и не заметил,
как скрылся он…

Мидия
(подходит)

Сейчас начнутся танцы…

Входит Элла и за нею Ганус.

Мидия

А вот и Элла!..

Первый гость
(Второму)

Кто же этот черный?
Страшилище какое!

Второй гость

В сюртуке,
подумайте!..

Мидия

Озарена… воздушна…
Как твой отец?

Элла

Все то же: лихорадка.
Вот – помнишь, говорила? – трагик наш…
Я упросила грим оставить… Это
Отелло…

Мидия

Очень хорошо!.. Клиян,
идите же… Скажите скрипачам,
чтоб начали…

Гости проходят в залу.

Мидия

Что ж Морн не едет?
Не понимаю… Дандилио!

Дандилио

Надо
любить и ожиданье. Ожиданье –
полет в ночи. И сразу – свет, паденье
в счастливый свет, – но нет уже полета…
А, музыка! Позвольте же вам руку

калачиком подать.

Элла и Клиян проходят.

Элла

Ты недоволен?

Клиян

Кто спутник твой? Кто этот чернорожий
твой спутник?

Элла

Безопасный лицедей,
Клиян. Ревнуешь?

Клиян

Нет. Нет. Нет. Я знаю,
ты мне верна, моя невеста… Боже!
Войти в тебя, войти бы, как в чехол
тугой и жгучий, заглянуть в твою
кровь, кости проломить, узнать, постичь,
ощупать, сжать между ладоней сущность
твою!.. Послушай, приходи ко мне!
Ждать долго до весны, до нашей свадьбы!..

Элла

Клиян, не надо… ты мне обещал…

Клиян

О, приходи! Дай мне в тебя прорваться!
Не я молю – голодный гений мой,
тобой томясь, коробится во прахе,
хрустит крылами, молит… О, пойми,
не я молю, не я молю! То – руки
ломает муза… ветер в олимпийских
садах… Зарей и кровью налились
глаза Пегаса… Элла, ты придешь?

Элла

Не спрашивай, не спрашивай. Мне страшно,
мне сладостно… Я, знаешь, белый мостик,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.